

ИНСПЕКТОР И НОЧЬ

ИНСПЕКТОР И НОЧЬ

БОГОМИЛ РАЙНОВ



8

БИБЛИОТЕКА **Болгария**

БОГОМИЛ РАЙНОВ

ИНСПЕКТОР
И НОЧЬ

8



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

София, 1964 г.

Перевод Т. ТЕХОВОЙ

Редактор перевода
М. МАРИНОВ

Если вам скажет кто-нибудь, что профессия инспектора милиции романтична, пошлите его ко мне. Или к черту.

Половина восьмого утра. Я жду телефонного звонка и изучаю пейзаж в окне: темное декабрьское утро, свет уличных фонарей, с трудом рассеивающих плотный туман, пригоршни дождя, которые ветер остервенело швыряет в стекло, плюс отражение собственной физиономии. Словом — лучезарное лицо на лучезарном фоне.

Я жду телефонного звонка, но отнюдь не сгораю от нетерпения: единственное, что мне предстоит, это свидание с мертвецом. Вообще мертвецы — это мои ребята, хоть и создают мне массу неприятностей. Только успеешь разделаться с одним, как тебе уже преподносят другого, а антракта между этими историями никогда не хватает для того, чтобы сделать что-нибудь полезное. Сходить постричься, например, или сменить эту сорокасвечовую лампочку, от которой портятся глаза, или, на худой конец, убрать со стены портрет старой немецкой овчарки с всепоминающей улыбкой и лиловой шерстью.

Телефон все еще не звонит. Я отрываюсь от пленительного пейзажа и начинаю расхаживать по ка-

бинету, между четырьмя пустыми письменными столами. Нас четыре инспектора в комнате, но мне редко случается видеть остальных, а им — меня, потому что каждый из нас вечно возится с очередным покойником. Зато столы всегда налицо. И эти пустые канцелярские столы, освещенные вышеупомянутой лампочкой, придают комнате изумительный уют. Тот особый уют, от которого хочется задрать голову, как овчарка на стене, и завывать во весь голос.

Мне удастся подавить это атавистическое желание, и я только поднимаю шляпу; это означает на моем тайном языке: «Выше голову, дорогой! Смотри на вещи веселей!»

Итак, я бодро вскидываю голову и даже принимаюсь тихонечко насвистывать — ни твист, ни рокк, а какое-то танго — старомодное, как мой плащ. Я насвистываю и в такт мелодии передвигаю пальцы по столу, и постепенно мои два пальца превращаются в двух человечков — ее и меня — двух маленьких человечков, которые кружатся по письменному столу, но это уже не стол, а летний дансинг, где все и началось . . .

Дансинг . . . Слово это в достаточной степени говорит о серьезности происшествия, ибо в танцах я столь же подвижен, как труп, который меня ждет. Это случилось на берегу моря — почти, как у Павла и Виргинии, в доме отдыха профсоюзов . . . Громкоговоритель в ресторане гремел все одной и той же мелодией. Это была, должно быть, единственная не заигранная еще вконец пластинка. Нас познакомили — меня и ее. Другие встали и пошли танцевать. Мы остались одни за столиком. Глупо, конечно, — после стольких допросов не суметь толком ни о чем

спросить! Впрочем, и она мне не очень помогала. Только узнав, чем я занимаюсь, проговорила: «Это, наверно, ужасно — видеть жизнь только с теневой стороны!» До этого мне не приходило в голову, что я вижу жизнь только с теневой стороны, но собеседница моя была учительницей, и, видно, разбиралась что к чему. Громкоговоритель, чуточку помолчав, снова грянул ту же мелодию. «Потанцуем?» — предложила она. «С удовольствием, но я не умею». «Ничего, попробуем». А внизу шумело в темноте море.

В это мгновение звонит телефон, и я, все еще под властью воспоминаний, беру трубку и машинально бормочу:

— Готово? Сейчас спускаюсь.

Потом надвигаю шляпу на лоб, что на моем тайном языке означает самые различные вещи, но в данном случае «Все, кончай. Тебя ждет дело, голубчик». На ходу срываю с вешалки плащ, на ходу, на лестнице, его натягиваю, а в ушах у меня все еще звучит и звучит то старое танго, что играли на дансинге, и история не желает улетучиваться из головы, и все, что я делаю, я делаю машинально, просто в силу привычки. Мелодия мешает мне поступать, как положено сознательному оперативному работнику, и превращает меня в автомат, который кивает своим коллегам, собравшимся под дождем во дворе, садится на заднее сиденье машины — шофер уже успел завести мотор — и, откинувшись на кожаную спинку, насколько позволяет теснота подобную роскошь, натягивает на нос шляпу, чтобы отгородиться от всех знакомых и не очень-то приятных вещей, с которых начинается рабочий день, еще хоть несколько минут побыть там, на дансинге.

Машина, заурчав на первой скорости, выезжает со двора. Прикрыв глаза в темноте под шляпой, я призываю себя к сознательности, но продолжаю лениво полулежать, потому что и не открывая глаз знаю, что меня окружает: спины шофера и лейтенанта научно-технического отдела, два желтых снопа фар, едва пробивающихся сквозь туман, и вереница серых фасадов, смутно проступающих в предрасветных сумерках.

Машина некоторое время ползет, потом останавливается. И не глядя я знаю, что мы сейчас перед домом судебного медика. И не глядя знаю, что в этот миг именно он, а не кто другой открывает дверцу машины и сопя устраивается рядом со мной.

— Погодка, а?

По всей вероятности, вопрос относится ко мне. Я привожу в порядок шляпу и без особого интереса смотрю на виртуоза вскрытий.

— Ты со своей профессией обойдешься и без фиалок и лучей, — замечаю я, когда шофер снова трогает с места.

— Не согласен, мой дорогой. Лучи и фиалки необходимы всем. И, разумеется, сытный завтрак. Я вот заправился как следует. Утром вообще надо завтракать плотно. Особенно в такую погоду.

Рассуждения о пользе завтрака отнюдь не новы для меня. Я слушаю их рассеянно и так же рассеянно вытаскиваю из кармана пачку сигарет. Фатальная ошибка, потому что я тут же слышу знакомое:

— Угости! . .

— Ты что — опять бросил курить?

— Вот именно, — заявляет Паганини вскрытий,

бесцеремонно роясь в пачке и выбирая сигарету помягче.

Я вздыхаю, примираясь с неизбежным, и даю ему прикурить.

— Какое совпадение: когда я работаю с тобой, у тебя всегда период воздержания. И оно мне дорого обходится.

Паганини с наслаждением затягивается и добродушно предлагает:

— Брось и ты!

— Благодарю покорно. Жизнь и без того заставляет меня вечно от чего-то отказываться. В свое время — от медицины . . .

— Слышал . . . Слышал . . . — бормочет врач. — Но что тебе мешает начать сначала?

— Ты не слышал продолжения . . .

— А именно?

— Я ужасно страдал, что бедность помешала мне учиться. Так страдал, понимаешь, так страдал . . .

Тут я нарочно делаю паузу, пока не следует вопрос:

— А потом?

— Потом ничего. Встретился с тобою и понял, что я ничего не потерял.

— Я знал, что ты брякнешь что-нибудь такое, — замечает без тени раздражения врач.

Больше всего меня бесит в этом человеке то, что мне не удастся вывести его из себя. Я называю его и Паганини аутопсий, и «стариком», хоть он старше меня на каких-нибудь восемь лет, и «заслуженным гробовщиком», но ничто не в состоянии затуманить его безоблачного настроения.

— В сущности, старик, — отступаюсь я, — ты

заслуживаешь известного уважения. Хотя ты и ходишь только по покойникам, но по крайней мере не фабрикуешь их сам, как некоторые твои коллеги...

Мне хочется выдать ему несколько комплиментов в этом же духе, но машина останавливается и шофер поворачивается к нам:

— Номер 27, товарищ майор.

Я смотрю на улицу сквозь стекло и еле различаю высокую железную ограду с ржавыми чугунными цветами и прочими допотопными финтифлюшками.

— Машину, — говорю я шоферу, — поставьте во дворе. Нечего устраивать представления.

Машина медленно ползет по аллее. Справа чернеют мокрые ветви голых деревьев. Слева — силуэт старого, когда-то богатого дома. Высокие тоскливые окна. Облупившаяся штукатурка. Сырость и меланхолия. Не говоря уже о высокой квартирной плате. В голове у меня по привычке запечатлеваются особенности обстановки. Расположение окон. Первый этаж. Зимний сад, связанный с одной из комнат. Чутьочку подальше — подъезд. Тот, перед которым мы останавливаемся.

Мы выходим и, поднявшись на несколько ступенек, оказываемся в обширном полутемном холле. Это одно из тех традиционных помещений, которые символизировали буржуазный достаток и служили главным образом для того, чтобы спотыкаться в темноте о мебель. К счастью, мебели в этом холле нет. Единственное, что я замечаю, это фигура милиционера у одной из дверей. Профессиональное чутье подсказывает, что мне — туда.

И вот мы в комнате, которая впредь будет именоваться «местом происшествия». Оно просторно, это

место происшествия, но ощущения простора нет. все впрытк заставлено мебелью. Тут и комод с мраморной плитой, и два платяных шкафа — с зеркалом и без, и несколько столиков, на которые вряд ли можно что-либо ставить — такие они шаткие на вид; и гигантская лжеяпонская ваза, два фикуса по обе стороны двери, ведущей в тот самый зимний сад; кресла, табуретки, половички и масса всяких прочих вещей, от перечисления которых я воздержусь из боязни упасть в натурализм.

Среди этого нагромождения фамильной мебели выделяется несколько вещей, которым, по-видимому, принадлежит известная роль и в описываемой истории. Тяжелый полированный стол. На нем — коробка шоколадных конфет, наполовину выпитая бутылка коньяку, две рюмки — одна почти пустая, другая — почти полная. У стола — стулья. Тоже два. В углу комнаты — массивная кровать. Над ней в раме — портрет мужчины весьма внушительного вида. Поперек кровати — оригинал.

Поза мужчины — мучительно неудобна. Особенно если иметь в виду, что ему предстоит лежать в этой позе до скончания века или — без преувеличения — до того, как он полностью не сгниет. Не нравится мне и выражение его лица, не имеющее ничего общего с самоуверенной улыбкой на портрете. Хотя и эта фотоулыбка тоже мне не очень нравится. В ней есть что-то нахальное и вызывающее. Если присовокупить эту улыбку к остальным данным обстановки, мы могли бы сделать заключение, что в прошлом хазяин в общем и целом был доволен судьбой.

Осматривая вышеописанный интерьер, я в то же

время краешком глаза слежу за маневрами своего приятеля-врача. Это совсем не лишняя предосторожность. Когда Паганини склоняется над трупом, исполненный решимости установить диагноз, я вовремя одергиваю его:

— Доктор, только не трогать . . .

— Обойдусь без советов, дорогой, — бурчит виртуоз и убирает руки.

— Не сомневаюсь. В последний раз мы нашли на ноже убийцы столько отпечатков твоих пальцев, что — захоти я сократить следствие — я мог бы вполне задержать тебя.

Вспыхивает магни́й фотоаппарата. Потом еще и еще. Лейтенант знает свое дело. Как, впрочем, и остальные. Начало осмотра. Начало опроса. Начало нового рабочего дня.

Некогда гениальные детективы с одного взгляда устанавливали все, в том числе и ласкательное прозвище убийцы. А нам суждено идти по следу черепашьями шагами. Обзорные снимки. Узловые снимки. Детали. И писанина. Статистический отчет. Динамический отчет. Отпечатки пальцев. И писанина. Пока не получится альбом семейных фотографий и документов, в которых отсутствует ответ на главный вопрос: убийство или самоубийство?

— Убийство или самоубийство? — повторяю я на этот раз вслух.

— Вот это уж ты нам скажешь, дорогой, — мычит себе под нос врач.

— А когда наступила смерть? — спрашиваю я и смотрю на будильник, стоящий на ночном столике.

В романах часы обычно останавливаются именно в тот самый роковой час. Эти железно тикают.

— Когда наступила смерть? — повторяет врач, почесывая затылок. — Около полуночи . . .

— Причина?

— Я ощущаю запах горького миндаля, — произносит Паганини.

— Этот запах напоминает мне детство.

— А мне — цианистый калий.

— Еще что ты мне можешь сказать?

— Пиши-ка ты лучше самоубийство. А если убийца явится с повинной, большое дело — переправишь акт. Или иди обратным путем: ищи убийцу, а не найдешь — напишем «самоубийство» . . .

Врач внезапно прерывает поток мудрых советов и, осененный идеей, подходит к столу, протягивая руку к почти пустой рюмке коньяка.

— Доктор! — стонет лейтенант.

Врач поспешно убирает руку и, наклонившись, нюхает рюмку.

— Так и есть. Запах горького миндаля и коньяка.

— Какого — «Экстра» или «Плиски»?

— Попробуй, — добродушно предлагает доктор. — Ты лучше разбираешься в коньяке.

И, удивляясь, сколько можно размышлять над такими очевидными истинами, бросает на меня сокрушительный взгляд.

— Все до того ясно, что лишь такому мизантропу, как ты, может мерещиться убийство.

— Верно, — киваю я. — Особенно если б не было второй рюмки. Но когда двое выпивают и после выпивки остается только один труп, приходится проверить, кто тот другой, что так легко перенес цианистый калий.

При этих словах я поворачиваюсь к Паганини

спиной — пусть себе спокойно нюхает рюмки — и выхожу в холл.

— Кто еще живет здесь? — спрашиваю милиционера, стоящего в полумраке.

— В комнате налево — Димов, адвокат. А здесь, справа — Баевы.

— И это все обитатели дома?

— Нет, почему же. Внизу, в подвале, тоже живут люди.

*

Что ж — пойдем посмотрим подвал. У подвалов всегда подозрительные биографии. Потайные двери. Подземные ходы. Словом, читали в романах, знаете.

Я спускаюсь по лестнице и оказываюсь в узком, недавно побеленном коридоре, освещенном примерно так же, как и мой кабинет. В коридор выходят три двери. Стучу в первую — она моментально открывается. Так моментально, что у меня мелькает подозрение, не подслушивала ли хозяйка. Показываю ей удостоверение.

— Ах, товарищ начальник, заходите. Я Катя. Вам, наверно, сказали. Я даже хотела подняться наверх — может, что надо — да мне велели сидеть здесь и дожидаться.

Вхожу в комнату и беглым взглядом окидываю обстановку. Здесь тоже все заставлено, как и у покойника, с той разницей, что мебель — пониже категорией, и на стене вместо портрета висит старый линялый коврик. На нем вышит лев, продирающийся сквозь заросли ядовито-зеленых огурцов, призванных, вероятно, изображать пышную растительность

девственных джунглей. Пока я созерцаю благородное животное, назойливый голос за спиной продолжает каркать:

— . . . Ужас, правда? Хоть покойный Маринов тоже был типчик, я вам скажу. Но все же так неожиданно, правда? Представляю, как вылупит глаза моя приятельница Мара, соседка. Она, знаете, всегда говорила: да этого человека и старость не берет! Вообще-то все мы, конечно, стареем — кто медленней, кто быстрее, но покойный Маринов не старел, а молодел . . . К девушкам очень был равнодушен...

— Пойдите, пойдите, не все сразу . . . — останавливаю ее я, поворачиваясь к ней лицом. — Обо всем будем говорить по порядку — первое, второе, третье . . .

Женщина с вытаращенными глазами и большим, раскрытым на полуслове ртом оторопело смотрит на меня. Она, должно быть, впервые слышит, что можно говорить по плану, по порядку — первое, второе, третье. Потом соглашается:

— Как вы скажете . . . Вам видней, товарищ начальник . . . Я вот и Маре тоже говорю . . .

И заводится сначала.

— Пойдите! — кричу я, прерывая этот словесный водопад. — С каких пор вы знаете Маринова?

— С каких пор? А я помню, с каких пор? Лет тридцать, если не соврать, не меньше . . . Я еще девушкой пришла в этот дом. Он не такой тогда был, вы не думайте. Богатый дом, не то, что сейчас — плюшевые диваны и ковры, гипсовые потолки, паркет начищен — хоть языком лижи. Мы с Марой, моей подругой, как начнем убираться.

— А чем занимался Маринов?

— Профессия хорошая, ничего не скажешь. Да и покойная госпожа принесла ему денег в приданое . . .

— Чем он занимался? — терпеливо повторяю я.

— Сыщиком был. Частным. Помните, раньше нанимали агентов следить, кто кому ставит рога и прочее . . . Сам-то он, конечно, не следил — для этого была рыбешка помельче, — товарищ Димов, например, а господин Маринов сидел себе в кабинете и знай приказывал: ты пойдешь туда, а ты сюда. И нас в хвост и гриву гонял. Бывало в лепешку расшибешься — все равно не угодишь. Сколько раз мы соберемся, бывало, с Марой — я вам, кажется, говорила о ней . . .

Первое, второе, третье? Пока спросишь первое, эта женщина выпаливает уже сто первое. И льет свой словесный водопад, эту живую летопись квартала, и раскрывает свой громадный рот, словно вытащенная из воды рыба, и рассказывает с мельчайшими подробностями, что было раньше и что потом, как Маринова уплотнили и он, чтобы не пускать чужих людей, взял к себе бывшего агента Димова и своего бывшего бухгалтера Баева, и какую роль во всей этой истории играли неразлучные подруги Катя и Мара.

Он все хлещет, этот водопад, и невдомек ей, что тебя интересует несколько совершенно конкретных вопросов: кто, когда, как и зачем. И что из всех возможных ответов налицо пока только один: тот, что лежит поперек кровати.

— На какие средства жил Маринов? — успеваю вставить вопрос, пока женщина переводит дух.

— Брат доллары из-за границы посылал. Дачу

недавно продал. Хватало. Больше десяти тысяч за нее получил. Небось, еще и не прикоснулся..

— Погодите! — поднимаю руку. — А почему он тогда, по-вашему, кончил жизнь самоубийством? — Почему?

Катино лицо приобретает таинственное выражение. Она доверительно склоняется ко мне и громким шепотом, слышным за полквартала, заявляет:

— Если вы хотите знать мое мнение, это не самоубийство, а убийство.

Исполненный признательности, я в свою очередь склоняюсь к ней и доверительно спрашиваю:

— Вы его совершили?

Катя в ужасе отшатывается.

— Я?! . . .

— А кто?

— Баев. Кому же еще. Все знают, что у жены Баева были с Мариновым шуры-муры. Из-за тряпок заграничных. И что они с Мариновым терпеть друг друга не могли, и . . . Я давно хочу вам сказать, да как-то вылетело из головы: нынче утром Баев, видать, что-то искал в комнате Маринова.

— Видать? Откуда видать?

— А тело-то, вы ж знаете, открыли мы с женщиной, что собирает плату за электричество. Она с семи отправляется по домам, и Маринов, бывало, всегда оставлял мне с вечера деньги, чтобы его спозаранку не будили. А в этот раз почему-то не оставил, и мы с женщиной поднялись наверх и постучали, но никто не откликнулся. Тогда мы нажали ручку — дверь была отперта, мы зажгли свет, и я успела заметить в зимнем саду, за стеклом, спину Баева. Он как раз улепетывал. Чем угодно могу поклясться, что это

был Баев в своем клетчатом пиджаке. Я-то хорошо его разглядела, хотя он и торопился убежать . . .

— Значит, Баев и никто другой?

— Баев. Голову даю на отсечение. Хотя, может быть, и Димов.

— Димов?

— Ну, да, Димов. А что? Они, Димов и Маринов, тоже друг дружку не выносили. В кости, правда, играли иногда, да больше ссорились: Маринов во-ображал, что может, как и раньше, приказывать Димову, что тот ему слуга, а не адвокат, самостоятельный человек . . .

— А вчера они играли в кости?

Женщина молчит. Ее лицо приобретает хитрое выражение.

— Я не знаю. Не заметила.

— Но ведь ваша комната находится точно под комнатой Маринова. Так-таки ничего и не слышали?

— Ничего, я вам говорю.

— Ни голосов, ни шагов — ничего?

— Ничегошеньки, пока не заснула. Я, знаете, рано засыпаю.

— Кто еще живет тут, внизу?

— Уйма народу. Вот тут, за занавеской, Жанна, моя племянница. Рядом, в двух комнатухах, инженер Славов и доктор Колев, хорошие ребята, аккуратные, работяги . . .

— Погодите! — поднимаю я руку. — А где ваша племянница? Может, она что-нибудь слышала этой ночью?

— Нет, не слышала. Исключено. Она ночевала у подруги. Славов и Колев ушли на работу. В эту пору все уже на работе. Может, Баева только дома.

У этой другого дела нет, как только полировать свои ногти да сталкивать людей лбами . . .

«Ну, что ж, — говорю я себе. — Начну с Баевой — этой фатальной женщины, что сталкивает людей лбами».

С облегчением покидаю водопад, продолжающий клокотать за спиною, поднимаюсь на несколько ступенек и, оказавшись в полутемном холле, стучу в первую попавшуюся дверь.

Стучать в двери (замечу в скобках) — это одно из моих привычных, хоть и не скажу, чтобы излюбленных занятий. По количеству дверей, перед которыми я торчал, я переплуну почтальонов любого столичного района. Многие из моих коллег считают, что я перебарщиваю, что для дела совершенно все равно, вызываю ли я людей в кабинет или обхожу их сам, как инкассатор. Но я упорно остаюсь при своем, хоть это и пагубно отражается на моем бюджете и в особенности на статье расхода «Обувь и починка последней». Лицо такое-то, вызванное в мой кабинет, выдаст мне несравнимо меньше, нежели то же самое лицо в привычной для него обстановке. А кроме того, нечего заставлять людей тратить время, ежели тебе платят именно за то, что ты расходуешь свое. Впрочем, без отступлений, свойственных авторам, алчущим гоноров.

Итак, мне кажется, я уже сказал, я поднимаюсь и стучу к Баевым. Дверь тут же отворяется. Такое впечатление, что в этом доме все дежурят под дверью. Передо мною Дора Баева, фатальная женщина. В общем ничего, если бы только не излишек косметики. Губы, ресницы — это еще куда ни шло. Но эти голубые веки уж чересчур. Почему тогда не зеленый нос?

— Товарищ из милиции, не правда ли? — протягивает Баева, избавляя меня от необходимости лезть в карман за удостоверением. — Наконец-то. Я сижу и жду, когда вы освободите меня из-под ареста.

Фатальная женщина, как видно, действительно приготовилась уходить. Превосходный темно-синий костюм с пуговицами, имитирующими античные монеты. Шик и запах духов «Шанель» или еще чего-то заграничного.

— Что вы, что вы, при чем тут арест? — вхожу я в комнату. — Просто формальность. И в вашу пользу: вы потеряете сейчас десять минут вместо того, чтобы завтра терять два часа на хождение ко мне.

Дора оценивает мое добродушие и мило улыбается.

— Вы очень любезны. Заходите, прошу вас.

Именно это я и делаю. Комната невелика и обставлена с тем вкусом, который я, чтобы не показаться грубым, не назову дешевым. Почти половину помещения занимает спальный гарнитур белого и красного дерева с гигантским платяным шкафом. Скатерти и скатерки искусственного шелка всех цветов радуги плюс некоторые краски, не свойственные этому атмосферному явлению. На столе — фотография в рамке из бамбуковых палочек. На фотографии — пожилой мужчина с одутловатым склеротическим лицом. Кажется, что он надувает шарик.

— Отец? — беззаботно осведомляюсь я, показывая на фотографию. — Вы похожи.

— Муж, — выдавливают из себя Дора.

— Ах, эти мне неравные браки! Впрочем, из-за чего вы вышли замуж, если не секрет? Чтобы по-

лучить этот шкаф-гигант или столичную прописку?

— А вы, оказывается, не так любезны, — кривит губы молодая женщина. — Ошибка. Глупая, нелепая наивность. Я всегда ошибаюсь.

— Как всегда? Неужели и с Баевым?

Она молчит. Потом усмехается.

— Вы мне позволите закурить?

— Я как раз хотел попросить вас об этом же, — галантным тоном замечая я и с готовностью достаю сигареты. Угощать красивую женщину и разрешать судебному медику выбирать сигареты помягче — это не одно и то же.

Дора держит сигарету между пальцами (этот картинный жест наверняка подсмотрен где-нибудь в журнале мод), выпускает покрашенным ртом струйки дыма и будто ненароком перекидывает ногу на ногу.

— Откуда вы знаете о прописке?

— Просто догадка, — скромно отвечаю я и столь же скромно посматриваю на ее оголившиеся колени.

— Вы опасный человек.

— А вы говорите это, сознавая, что вы опасны, — парирую я и опять многозначительно поглядываю на ее и впрямь красивые ноги. — Но вернемся к действительности. Каковы были отношения между вашим мужем и Мариновым?

— Не блестящие. Но и не такие уж плохие.

— Некоторые придерживаются иного мнения.

— Люди обычно преувеличивают. Особенно такие балаболки, как Катя.

— А в чем, по-вашему, причина этих . . . не совсем хороших отношений?

— Этого я не могу сказать. Какое-то старое недо-
разумение. Они ведь знакомы очень давно.

— Ваш муж служил когда-то у Маринова?

— Да. Кажется, служил.

— А не кажется вам, что Маринов проявлял к вам некоторую симпатию?

— Он к редкой женщине не проявлял симпатии, — иронически усмехается она. — Флиртовал и со мной. Муж мой не был от этого в восторге, но такая мелочь, сами понимаете, не может породить неприязнь.

— Вы говорите — неприязнь?

— Ну, может быть, я неточно выразилась. Хотя это и не затрагивает меня лично, но, знаете, все-таки расстраиваешься.

— Понимаю. Идите погуляйте, а когда соберетесь с мыслями, мы побеседуем еще.

— С удовольствием, — устало протягивает она. — Хотя и не знаю, право, чем я могла бы вам быть еще полезной.

— Я тоже сейчас не могу сообразить, но как знать, — говорю я, прощаясь, и направляюсь к двери. Но, взявшись за ручку, поворачиваю голову.

— А вы не помните, в котором часу вернулся вчера ваш муж?

— Точно не могу вам сказать . . . — несколько растерянно отвечает Дора. — Очень поздно, во всяком случае.

— Что вы понимаете под «очень поздно»?

— Часа в три . . . Или в четыре . . .

— И часто он у вас так задерживается?

— Время от времени случается.

— Коньяк или преферанс? Или, может, третье?

— Не знаю. Я его не расспрашиваю. В этом отно-

шении у нас существует давняя договоренность.

— А он соблюдает правила?

— Не понимаю вашего намека, — поводит плечом фатальная женщина, но по ее сердитому тону чувствую — поняла.

Я выхожу, предоставляя ей возможность восстановить душевное равновесие. В холле мрачно и пусто. Милиционер уже ушел, осмотр закончился, тело вынесено, дом может возвращаться к нормальной жизни. Мне здесь больше делать нечего.

*

На улице, как и следовало ожидать, все еще хлещет дождь. Нахлобучиваю шляпу на нос и окунаюсь в густой туман. Погодка! — как говорит доктор. Самое мерзкое, что не разберешь — светает только или уже темнеет. Но для этого есть часы. Интересно, долго ли еще будут идти часы Маринова? У самоубийц, насколько я заметил, нет привычки заводить будильник перед тем, как ополоснуть свои внутренности раствором цианистого калия. Все же предметы — часы или не часы — честней в показаниях, чем некоторые люди. О, извините, гражданка Баева, я вовсе не хотел вас обидеть. Вы, что могли, скрыли. Муж ваш, насколько ему позволяют возможности, постарается сделать то же. А остальные в свою очередь последуют его примеру. Дело в том только, что люди утаивают обыкновенно разные вещи. Следовательно — и выдают разные вещи.

Углубившись в подобные размышления, я шагаю, не глядя по сторонам. Это избавляет меня от необходимости описывать улицы родного города, туман с

его особенностями: цветом, специфическим запахом и температурой, прохожих — их возраст, походку, отличительные приметы, пол. Опишу лишь конечную цель — лабиринт дворов Торгового дома.

Почему дом этот называется «торговым», а не «адвокатским» — с незапамятных времен здесь помещаются конторы адвокатов — загадка даже для милиции. Как бы то ни было, но у дома — адвокатского или торгового — на редкость отталкивающий вид. Скудная охра, которой его красят почти ежегодно, не в состоянии прикрыть тягостный отпечаток, накладываемый временем. На только что выкрашенных стенах сразу же проступают потеки сырости и копоти, скапливавшейся десятилетиями. За мрачными окошками, словно притаилась, не рассеялась еще затхлая атмосфера каких-то не очень чистых дел. Клетушки в первом этаже похожи не на конторы, а на берлоги. Тесные дворики смахивают на колодцы, прикрытые от потоков дождя серыми цинковыми крышками.

Но есть здесь и одно бесспорное удобство: эмалированные таблички, прибитые длинными колонками справа и слева от подъездов. По этим табличкам, если ты располагаешь часом-другим свободного времени, можно довольно просто разыскать нужного представителя адвокатского сословия.

Я углубляюсь в чтение фамилий, пока наконец не нахожу то, что мне необходимо. Контора Димова помещается в клетушке подле главного входа. Внутри — четыре письменных стола и два занятых работой мужчины. Пятьдесят шансов из ста за то, что один из них — Димов.

Тот, что сидит поближе к свету и отстукивает на

машинке очередной канцелярский шедевр, недовольно поднимает голову.

— Что вам угодно?

Передо мной — стареющий франт, который прилагает все усилия к тому, чтобы не выглядеть стареющим.

— Маленькую справку, — отвечаю я с располагающей улыбкой.

Улыбка не дает эффекта.

— А именно?

— Я бы предпочел поговорить наедине, — бросаю я выразительный взгляд на человека в глубине берлоги.

Димов, явно раздосадованный, решается наконец выйти из-за письменного стола. Мы направляемся во двор.

— Не знаю, будет ли здесь удобно, — киваю я на проход, по которому движется нескончаемый поток людей.

— Отчего же? — хмурится Димов. — Ведь речь насколько я понял, идет о какой-то маленькой справке.

— Как хотите. Ваш сосед Маринов найден сегодня утром мертвым.

— Что?! — Лицо Димова выражает изумление в превосходной степени.

— Отравлен.

— То-есть как это отравлен? Кто его отравил?

Изумление почти настоящее. Или человек до такой степени сумел вжиться в свою роль.

— Я то же хотел спросить у вас.

Реплика производит известное впечатление, Димов

на секунду опешивает. Потом лицо его приобретает привычное нагловатое выражение.

— Ошиблись адресом, товарищ.

— Но вы служили чиновником у Маринова, а затем находились с ним в дружеских отношениях, — перехожу я к фактам.

— Никаким чиновником я у него не был. Работал одно время поденно, потому что, — тут его голос становится подчеркнуто назидательным, — таким, как я, чтобы получить диплом, надо было одновременно работать. Да, да. В отличие от маменькиных сынков таким, как я, приходилось самим зарабатывать себе на хлеб.

— Очень приятно, что я имею дело с человеком из рабочих.

— И ни в каких дружеских отношениях мы с ним не были. Если только не считать дружбой то, что я соглашался иной раз сыграть с ним вечером в кости.

— Ясно. Тогда, видимо, меня попросту ввели в заблуждение. И все же, если у вас есть какие-то соображения, то в интересах следствия . . .

— Никаких соображений у меня нет, — перебивает меня Димов. — И вообще я не могу понять, почему вы выбрали меня. Отравления, насколько мне известно, — это скорее по части врачей. Обратитесь к доктору Колеву. Он лечил в последнее время Маринова. Спрашивайте у него . . .

— Прекрасная идея. Почему бы и нет? Но я, откровенно говоря, возлагал на вас большие надежды.

— И зря. Говорю — вы ошиблись адресом . . .

— Ну, в таком случае . . . — я развожу руками, и Димов уже поворачивается, чтобы идти, как я останавливаю его вопросом:

— Вы не помните, где вы были вчера вечером?
Димов растерянно дергает головой, но тут же выпаливает:

— Меня не было в Софии.

— А где вы были?

— В Ямболе. По делу, которое я сейчас веду.
Вернулся сегодня утром поездом 5.40.

— Весьма своевременная поездка.

У Димова, я чувствую, крутится на языке какая-то не очень изысканная реплика и, чтобы спасти его от нарушения, именуемого «неуважение к исполнителям закона», я поворачиваюсь к нему спиной и ныряю в туман.

Дабы подвести черту, отмечу: в принципе я не имею ничего против адвокатов, но этот мне явно не по душе. А костюм у него ничего . . . Спросить бы адрес его портного . . . Это было бы единственной светлой точкой в общем мраке картины.

*

Доктор Колев — сосед Маринова. Что ж — познакомимся с доктором Колевым. Хотя я знаю, что люди в таких случаях перебрасывают тебя с рук на руки, как мяч. Грубо говоря, играют тобой. И невдомек им, что порой бывают очень опасные игры. Тут услышишь что-нибудь, там — и мяч растет, точно снежный ком. Надеюсь, вы меня понимаете?

Дождь почти перестал, но мне по опыту известно, что дождь, который «почти перестал», — самый гнусный, самый омерзительный. Он насквозь пронизывает собой атмосферу, включая прохожих, машины, дома, и устраивается в ней так прочно, словно

будущее — за ним. Дождь, который «почти перестал», за какие-нибудь полчаса так пропитывает одежду влагой, что вы, ей-богу, прибавляете в весе больше, чем на курорте.

Именно это со мной и происходит, пока я дохожу до поликлиники. В поликлинике, к счастью, тепло, но тут мне уготовано новое испытание. Кабинет, который я должен посетить, — не для лиц моего пола. Мне приходится с любезной улыбкой слегка растолкать ожидающих приема дам, потерпеть, пока очередная пациентка выйдет от доктора и в свою очередь прорваться в кабинет гинеколога.

Мужчина в белом врачебном халате недоуменно поднимает брови. И только когда он, взглянув на удостоверение, убеждается, что я пришел не на осмотр, лицо его приобретает обычное выражение. Выражение, надо сказать, не очень приветливое, хоть и не такое надменное, как у давешнего адвоката.

Пока доктор Колев моет руки, я продолжаю наблюдать за ним. Нет, это человек не типа Димова. Тот бонвиван и наверняка подлец, а этот суховат, не очень общителен, немножко, может быть, мизантроп, но поглощен своей работой, даже педант, пожалуй. Такой педант, что еще наверно два часа будет мыть руки под краном.

В это мгновение доктор Колев, чтобы разрушить мои построения, берет полотенце и, взглянув на меня, слабо, робко улыбается. Одна лишь улыбка — и все мои догадки разом летят к черту. Худое лицо становится добрым, всепонимающим и совсем не хмурым, а просто по-человечески усталым. Вы скажете, что улыбки могут лгать. Но не такие произвольные, неосознанные . . .

— Почему вы не сядете? — спрашивает врач, вешая на место полотенце.

— Я не вижу, на что здесь можно сесть, кроме гинекологического кресла . . .

На худом, усталом лице снова появляется тень улыбки.

— Ну, почему в гинекологическое кресло? . . Садитесь за мой стол.

Я не отказываюсь. После часа скитаний в холодном тумане, под дождем, это свыше моих сил. Я располагаюсь в кресле и, чтобы придать себе добродушный вид, сдвигаю шляпу на затылок. Колев садится на краешек стола и предлагает мне сигареты.

— Возьмите мои, — отвечаю я. — Чтобы вас не упрекнули в подкупе.

— В таком случае ваши действия могут быть истолкованы, как нажим, — парирует он, но берет.

Мы понимаем с ним друг друга. Жаль только, что люди, с которыми мы друг друга понимаем, обычно бывают меньше всех осведомлены об обстоятельствах убийства.

— Речь идет о Маринове, — начинаю я. — Его нашли сегодня утром мертвым.

Врач какую-то долю секунды размышляет над моими словами. И решает играть в открытую.

— Я уже знаю.

— От кого?

— Это очень важно — от кого? — спрашивает он, но надо понимать: «Так-то ты мне платишь за искренность?»

— Может, важно, а может быть, и нет.

— Мне сообщила Баева.

— А почему вам? И почему именно она?

— Мне, потому что я ее врач. Именно она — потому что именно она моя единственная пациентка в доме.

— Вы хотите мне дать понять, что Маринов не был вашим пациентом?

— Учитывая мою специальность. . .

— Врач может давать советы не только по своей специальности.

— О, если вы имеете в виду такие пустяки, как грипп или ангина, то Маринов действительно забегал ко мне. Врач обязан помогать каждому.

— Прекрасный принцип.

— Плевал я на принципы, — неожиданно взрывается Колев. — Плевал, когда речь идет о людях такого сорта, как Маринов.

— Плюете? А как же правила гигиены? «Не плевать», «Не сорить» и т. д. Не мне бы вам напоминать. . .

— Значит, по-вашему, во имя принципа надо было оказывать услуги и Маринову? — сердито вскидывает брови врач, жуя кончик сигареты.

— Конечно, — без колебаний отвечаю я.

— А вы знаете, о чем просил меня Маринов?

— Надеюсь, вы мне скажете.

— Об абортах. Абортах его приятельницам. Значит, плевать запрещено, а делать аборт — нет?

Колев улыбается — на этот раз не очень приветливо — и в сердцах мнет в пепельнице окурок.

— Простите, не знал, — извиняюсь я. — А сам он болел чем-нибудь серьезным?

— Он? Здоров был, как бык. Если исключить то, что он весь прогнил. А так был здоров, как бык.

— В каком именно смысле прогнал? Бабник, что ли?

— В полном смысле слова. Бабник — это еще не самое страшное. Человек, развращавший все вокруг. Превративший своих соседей в слуг. И Баева, и Димова, и эту старую Катю. Вел игру с Баевой и в то же время приставал с ухаживаниями к Жанне. Он пытался подкупить и меня. Не говоря уже о валютных сделках, растлении малолетних и т. д., и т. п.

— Вы говорите, он вел игру с Баевой. Я не хочу вникать в подробности интимного свойства, но поскольку вы гинеколог, может, вы больше осведомлены?

Колев снова слабо улыбается.

— Я изучал отношения полов только с точки зрения физиологического принципа, а тот или иной конкретный случай меня до сих пор не интересовал. И вообще я не любопытен.

— И я тоже. В этом мы сходимся. И все-таки вы наверно порядком знаете о покойном?

— Вполне достаточно для того, чтобы здраво судить о нем. Впрочем то, что я о нем узнал — не проводя специального опроса — я вам уже сказал. Мне, как видите, платят за другое. И в коридоре, если вы заметили, еще порядочно пациенток.

— Я понимаю ваш намек и не буду злоупотреблять терпением. Только один последний вопрос — так сказать, на прощанье.

При этих словах я еще больше сдвигаю шляпу на затылок, дабы приобрести совсем располагающий вид, закуриваю новую сигарету и, удобно развалившись в кресле, думаю машинально, что в конечном

счете моя заветная мечта сбылась — я за докторским столом.

Колев встал уже с краешка стола, но терпеливо ждет.

— Речь идет о Доре. Мне кажется, что это женщина, которая сама играет другими, а вы говорите — Маринов ею играл.

— Да, говорю. Но говорю в то же время, что больше ничего не знаю. Во всяком случае на вашем месте я бы не судил о людях с кондачка.

— Вы на моем месте и я на вашем. . . понаделали бы уйму глупостей. Вместо того, чтобы меняться местами, куда лучше было бы проявить больше искренности и доверия. А чутье мне подсказывает, что Баева доверила вам гораздо больше, чем вы сочли нужным мне сообщить.

Колев хмурится. Его лицо становится почти злым.

— Послушайте, товарищ инспектор. Я вам сказал, что плюю на принципы, но это не значит, что я вообще плюю на все принципы. Если Дора, как вы утверждаете, и доверила мне что-то личное, надо быть последним подлецом, чтобы взять да и расстрепать об этом. Тем более, что я уверен: к смерти Маринова она не имеет никакого отношения. Дора — просто несчастное существо. И я пытался ей помочь. Безвозмездно. Подчеркиваю это обстоятельство. И если мне этого не удалось, то только потому, что я имел дело с несчастным, вконец запутавшимся существом.

— Ваше объяснение мне кажется не менее путанным. Или я не дорос до уровня вашей терминологии. . .

Сказал — и ожидаю взрыва. Так и есть: Колев

воздевает руки, словно призывая в свидетели бога, и выплевывает мне в лицо:

— Но как можно не видеть очевидного? Считать обольстительницей жертву? Молоденькая неопытная девушка. . . сбегает от родителей-мещан. . . от перспективы быть всю жизнь домашней хозяйкой и кухаркой. Приезжает в Софию поступать в университет. . . Проваливается и попадает на удочку этого влюбленного дурака Баева. Не успевает прийти в себя, как снова оказывается в паутине лжи, которую плетет другой. И настолько ее опутывает, что когда предлагаешь ей курсы медсестер, она отказывается, предпочитая лживые обещания Маринова.

Он продолжает в том же духе, в сердцах рубит фразы на куски и, размахивая костлявой рукой, швыряет их мне в лицо. Когда он наконец выдыхается, я примиряющим тоном говорю:

— Ладно, ладно. Осмотр окончен. Можете одеваться.

И, не дожидаясь нового взрыва, спешу покинуть кабинет.

*

На улице все та же мразь и хлябь. Это заставляет меня сесть в трамвай, хотя я их презираю. Когда шагаешь по улице пешком — и мысли шагают с тобою в ногу, а стоит попасть в давку и толчею — и мыслям сразу делается тесно. Они становятся заземленными. Стоишь и думаешь, например, что время обеденное, но это отнюдь не означает, что ты будешь скоро обедать. Некоторые коллеги доктора Колева, правда, утверждают, что горячая пища вредна для

желудка, но хотел бы я видеть их мины, когда перед ними поставят суп с застывшим жиром и холодную баранину с кислой капустой — ту долю наслаждений, что отпущена мне в этом мире.

Выхожу у Судебной палаты, минуя — уже транзитом — Торговый дом и буквально перед самым закрытием врываюсь в сберегательную кассу. Зал пуст, если не считать служащих, которые покидают свои окошечки и торопятся на обед. Меня интересует одно-единственное окошко — над которым висит надпись «КАССА». За мраморной перегородкой — человек, уже знакомый мне по фотографии: крупный, тяжеловесный, со старчески дряблым и одутловатым лицом — кажется, что он надувает шар. Если судить по выражению лица, то владелец его из тех людей, для которых наивысшее наслаждение — читать свежие некрологи.

Я подхожу к окошку и скромно жду, но кассир до того углубился в свои расчеты, что не обращает на меня внимания. Когда же он наконец поднимает голову, то не удостоивает меня даже взглядом.

— Касса закрыта, — рычит человек с круглыми щеками и поворачивается к окну, словно я сижу именно там, на подоконнике.

— Тем лучше, — киваю я.

— Скажите, мы, оказывается, остроумны, — дарит мне Баев мрачный взгляд. — Я сказал: касса закрыта. Ждать не имеет смысла.

— В отношении кассы я понял. А как в отношении вас самого?

И прижимаю к стеклу удостоверение. Человек с круглыми щеками испытывает явное смущение, но столь же явно пытается его скрыть.

— Вы могли бы с этого начать, — рычит он тем же служебным тоном, смягчившимся лишь на самую малую толику. — Что вас интересует?

— Ваш сосед и приятель Маринов. Умер ведь человек-то.

— Умер?! — выкатывая глаза, переспрашивает Баев.

— Окончательно и бесповоротно. Единственным, что называется, возможным способом. Впрочем, вы уже наверно знаете эту скорбную новость?

— Что вы? Впервые от вас слышу!

— Странно.

— Чего ж тут странного? Не понимаю. . .

— Странно, потому что вы, в сущности, первый, кто видел его мертвым.

Человек с круглыми щеками поднимается со своего места.

— Вопрос в том, не вы ли последний, кто видел его в живых.

Кассир наклоняется ко мне. Его округленные глаза смотрят оторопело.

— Но погодите. . . Я ничего не знаю. . .

— Бросьте, Баев. Ей-богу, эта роль вам просто не по плечу. Лучше скажите, что вы делали рано утром в комнате мертвеца?

— Рано утром?. . В комнате мертвеца?. .

— Да. И оставьте эту манеру переспрашивать, чтобы выиграть секунду-другую. Как двоечник в младшем классе. Вас видели. Есть свидетели. Следовательно, вы должны отвечать.

Баеву нужно несколько секунд, чтобы хорошенько взвесить ситуацию. Наконец, надутые щеки приходят в движение:

— Я не был в комнате. Шел на работу и увидал, что дверь зимнего сада распахнута. . . И дверь комнаты тоже . . . Я удивился, что Маринов пораскрывал двери в такую погоду. Заглянул. Смотрю — спит. Я прикрыл двери и ушел. Вот, пожалуй, и все.

— А вам не показалось, что это довольно неудобная поза для сна?

Кассир постепенно набирается уверенности. Он почти доволен своим творчеством.

— На позу я не обратил внимания.

Не спуская с него глаз, я вытаскиваю сигарету и закуриваю.

— Вы, должно быть, не обратили внимания и на симпатии покойного к вашей жене?

Баев бросает на меня быстрый взгляд и тут же отводит глаза в сторону. На лице у него появляется гримаса, смутно напоминающая презрительную улыбку.

— Бабы сплетни. Трепотня. Маринов был волокитой, это верно, но никогда не переступал границ. . . А симпатии он скорее питал к этой. . . к Жанне, студентке.

— Но, говорят, что и вашу жену он осыпал знаками внимания?

— Глупости. Мелкие подарки, не более.

— Например?

— Разве все упомнишь? Пара чулок. . . Комбинация. . .

— А вам не кажется, — дружелюбно замечаю я, — что это довольно интимные подарки? Если кто-то на вас наденет комбинацию, не исключено, что в один прекрасный день ему захочется ее снять. . .

— На меня никто не надевал комбинаций, — прерывает меня хмуро Баев.

— Охотно верю. Даже допускаю, что в комбинации вы выглядели бы так, что у каждого родилось бы желание не раздеть вас, а немедленно чем-нибудь прикрыть. Но речь идет о вашей жене.

— Оставьте мою жену в покое, — рассерженно рывкает кассир. — Вы утратили чувство меры.

— И мне так кажется, но бывают случаи, когда это необходимо. После той истории, например, которую вы мне сочинили: заглянул, прикрыл обе двери, чтобы Маринов чего доброго не простыл, и тихонечко ушел. Или, как сказал Юлий Цезарь: пришел, увидел. . . и отправился на работу.

До Баева, кажется, только сейчас доходит, что за сочинение ему поставили двойку. Крупное туловище его снова склоняется к стеклянному окошку.

— Я вам говорю чистую правду. Если вы хотите доказать, что я причастен к смерти Маринова. . .

— Погодите, — успокаиваю его я. — До этого мы еще не дошли. Впрочем, где вы были в момент смерти?

Кассир почти готов выплюнуть ответ. Но внезапно замечает уловку.

— Не знаю, что вы имеете в виду, — осторожно бормочет он.

— Тогда скажите мне вообще, где вы были вчера вечером?

— С приятелями. . . То-есть с одним приятелем.

— Имя, фамилия и адрес лица?

— Иван Костов, улица Светлая 4.

— Где работает?

— Пенсионер.

— Телефон?

— Телефона нету.

Опираясь обеими руками о перегородку, я склоняюсь к окошку. Темные глаза с желто-грязными белками оказываются прямо передо мной.

— Как же вы тогда ему сообщите, что именно следует мне сказать? До улицы Светлой довольно далеко. Или вы уже ему сообщили? Когда? Перед тем, как прийти на работу?

Эта пулеметная очередь вопросов — не для таких тугодумов, как Баев. Единственное, что он способен выдать в ответ, это междометия, ничего не значащие словечки и особенно повторения.

— Я. . . Ведь я вам уже сказал. . . С приятелем. . . А что мне нужно сообщать ему?

Я не вслушиваюсь в его лепет. Не стараюсь уличить во лжи. Важно, чтобы сам он понял, что от его версии камня на камне не осталось. Да и это не так уж важно.

*

Суп и баранина с капустой не обманывают моих ожиданий. Они полностью покрылись жиром. Я закуриваю на закуску сигарету и поднимаюсь в кабинет. Щелкаю выключателем и печально смотрю на тусклую лампочку. Зимние сумерки за окном вот-вот превратятся в темноту. Дождь, собравшись с силами, стучит в окно так же, как на рассвете. И я так же, как на рассвете, некоторое время созерцаю свое лучезарное отражение на этом лучезарном фоне. Только с утра произошли кой-какие небольшие события, и это заставляет меня снять телефонную трубку.

Пока я звоню туда-сюда, мной овладевает то чув-

ство уверенности, которое испытывает шофер, улавливая на слух, что мотор автомобиля работает вполне исправно. Итак, дан первоначальный толчок, и машина пришла в движение. В разных учреждениях в различных районах города начали наводить справки. Там, где-то на конце провода, — знакомые люди, и я слышу их голоса, прерываемые моим голосом.

— . . . Да, да, и о прошлом, и о настоящем. . . Будущим не интересуемся. . . Какие тут шутки — не до шуток. . . А также справки о двух других. И побыстрее, хорошо?

В свое время великие пионеры нашей профессии с голыми руками бросались в водоворот преступности. Интуиция. Единоборство. Ухо прижато к замочной скважине, рука — на спуске пистолета. Не говоря уж о кулачных ударах прямо в челюсть противника. А сейчас — сплошная канцелярщина. Нужны тебе сведения — пожалуйста, запрашиваешь в соответствующем ведомстве. . . Да, если кто-нибудь вам скажет, что профессия инспектора милиции романтическая, пошлите его ко всем чертям.

И эта подслеповатая лампочка со своими сорока свечами. . . Действительно, есть с чего завывать. Надо теперь же пойти сказать, чтобы ее сменили. . .

Воодушевленный этим решением, я выхожу из-за письменного стола и делаю шаг к двери. Но в это мгновение дверь распаивается, и на пороге вырастает лейтенант.

— Вас вызывает товарищ полковник.

— Я как раз собирался к нему. А как насчет цианистого калия?

— Распорядился. Завтра нам дадут список всех

лиц, получивших его в прошлом году по специальному протоколу.

Пока я иду по коридору, у меня проносится мысль, что начальство вызывает не только для того, чтобы преподнести розы. Впрочем, однажды случилось и такое. Вхожу, а на письменном столе шефа — роскошный букет роз. Оказалось — вещественное доказательство. Убийца застенчиво прятал за цветами заряженный пистолет. Интересно, почему именно розы? Гладиолусы дешевле. Вкус. . .

— Ну, что нового? — говорит начальник, указывая мне на кресло у письменного стола.

Вечный вопрос. Вопрос без значения. Нечто вроде приветствия. В сущности, полковнику не хуже моего известно, что у нас нового.

Все же я описываю в нескольких словах, чего нам удалось добиться. Останавливаюсь на некоторых версиях. Полковник внимательно, сосредоточенно слушает, словно впервые узнает от меня, как ведется дознание. Я на его месте наверняка буркнул бы: «Покороче!» Но он слушает, и мне, как всегда, кажется, что он ищет слабые места в той или иной версии.

— Вообще, — заключаю, — в данном случае трудно не столько найти мотив, сколько понять, какой именно из множества мотивов сыграл свою роковую роль. Пока у нас четыре потенциальных преступника, но к вечеру их может оказаться шесть. Врагов у него хватало.

Полковник кивает и подвигает ко мне деревянную коробку с сигаретами. Сам он не курит, что не мешает ему вспоминать — пусть с опозданием — о потребностях курильщика.

— Похоже на тот случай повешения в Русе, когда инсценировали самоубийство, — задумчиво говорит полковник.

— Вот именно, — подтверждаю я, жадно глотая дым.

— Похоже, да все-таки не то, — смеется шеф, довольный, что ему удалось поймать меня на удочку.

— Разница всегда бывает, — отвечаю. — Даже между близнецами.

— Да, но тут, пожалуй, побольше. Ты сам видишь, я уверен. Пока у тебя, конечно, есть немало причин для серьезных подозрений, но все-таки недостаточно, чтобы эти подозрения перешли в полную уверенность. Допустим, что Маринова отравили. Тогда убийце ничего не стоило инсценировать самоубийство, спрятав вторую рюмку в карман. С другой стороны, давно известно, что самоубийца иногда вносит немалую путаницу в следствие, ставая перед собой вторую рюмку. Минимальная возможность, но все-таки возможность. . .

— Не очень вероятная, по-моему.

— По-моему, тоже, — кивает шеф. — Но ты, конечно, отлично понимаешь, зачем я тебе все это говорю.

Рискуя показаться не вполне интеллигентным, почитаю за лучшее промолчать.

Шеф медленно поднимается из-за стола. Он высок, чуточку сутуловат и старше меня совсем немного, хотя на его воображаемых погонах на две звездочки больше. «На одну», — сказал бы другой, более суетный человек, так как в самое ближайшее время я ожидаю повышения. Но разница в звездочках между полковником и мной не задевает моего самолюбия,

и я говорю «две». Одна — за способность терпеливо слушать и вникать в обстоятельства дела, другая — за умение заниматься всеми историями одновременно.

Шеф делает несколько шагов, будто подыскивает подходящее слово. Это не похоже на него. Потом опирается на подоконник и смотрит на меня тем взглядом, который он приберегает для внеслужебных разговоров.

— Видишь ли, в чем дело, браток. Когда люди долгие годы вынуждены копать в грязи, некоторые из них в конечном счете привыкают всегда и везде видеть только самое худшее. Иными словами, становятся мнительными, подозрительными сверх меры — так сказать, профессиональная деформация. Вопрос этот не только морально-психологический — он имеет и деловую сторону. Мнительность сверх меры не только не полезна, как полагают некоторые, — она может подвести, подсказать неправильное решение.

Я молчу. Не то, чтобы не понимаю или не согласен с полковником, а просто прикидываю, насколько это замечание касается лично меня.

— Правда ведь? — спрашивает шеф, глядя на меня спокойно светлыми глазами.

— Правда, хоть я и не в состоянии сейчас сообразить, в какой степени я деформирован.

Он улыбается.

— Прими это не как факт, а как возможность.

Затем его лицо снова обретает служебное выражение.

— Просто мне показалось, что в этой истории ты несколько преждевременно склонился к определенной версии. Конечно, следствие еще не кончилось, и я

допускаю, что ты можешь оказаться прав. Но все же действуй осмотрительно.

Возвратившись в свой кабинет, я застаю там судебного медика, развалившегося за моим столом.

— А, благоволил наконец явиться, — кисло приветствую его я, все еще под впечатлением разговора с полковником.

Паганини вскрытий зябко потирает руки, не обращая ни малейшего внимания на мое кислое лицо. У этого человека вообще талант не замечать ничего неприятного.

— Холодно у тебя, дорогой. Я, пока ждал, окончел. Может, выкурим по одной, согреемся?

Я вздыхаю и с видом великомученика бросаю на стол коробку сигарет — вторую за этот день.

— Твоим пациентам еще холодней, и никто не угощает их сигаретами. Ну, выкладывай: что нового?

Врач не торопится. Он бесцеремонно роется в коробке, выбирая сигарету, которая помягче, ищет глазами спички, закуривает не спеша и только после третьей затяжки благоволит процедить:

— Пока что ничего окончательного. Смерть, как я и думал, наступила что-то около полуночи. Анализ яда еще не закончен, но вот увидишь — я буду прав: цианистый калий, воспоминание детства. Кроме того, вскрытие показало систематическое злоупотребление спиртным.

— Это известно и без вскрытия.

— И еще одно, что, вероятно, тоже известно инспектору, для которого не существует никаких тайн: рак легкого.

— Вот это уже что-то положительное.

— Настолько положительное, что может послужить заключительной главой истории, — торжественно заканчивает Паганини и разваливается в кресле.

— Ну, что ж, раз ты говоришь. . . — смотрю я на него рассеянно.

— Не понимаю, чего тут еще думать. Человек узнал, что у него рак и, чтобы избавиться от болей, взял да и глотнул цианистого калия. Такие случаи бывали.

— Но ты забываешь про вторую рюмку.

— Если она так тебя волнует, допей ее и поставь точку. Вторая рюмка. . . Может, перед этим к нему зашел приятель, и они выпили вдвоем.

— Человек, решивший покончить с жизнью, вряд ли станет распивать с приятелем, — говорю я не столько Паганини, сколько самому себе.

В это мгновение судебный медик, осененный идеей-молнией, приподнимается со стула и победоносно произносит:

— Слушай. Все ясно — приятель его был врач. Они выпивали, и Маринов, задавая исподволь вопросы, узнал страшный диагноз. Потом, когда врач ушел к себе, больной, подавленный известием, глотнул цианистого калия.

— Ты доведешь меня до нищенской суммы с твоими версиями, — отбиваюсь я устало. — И сядешь на мое место.

— Очень мне нужно твое холодное место, — усмешается Паганини. — Дарю тебе эту версию. Лови.

— Ты мне покажи лучше акт вскрытия, а версию пока попридержи. Нет! погоди! Стой!

Осененный в свою очередь идеей, я хватаю Паганини за плечо.

— А откуда тебе, старому черту, известны все эти подробности? Уж не ты ли тот врач, который выпивал с Мариновым?

Между тем, как говорится в протоколах, наступил конец рабочего дня. Я покидаю кабинет, но из этого отнюдь не следует делать поспешного заключения, что мой рабочий день закончился. Я и те, что вроде меня, исключение: работаем все равно, что сдельно. Пока убийца гуляет на свободе, об отдыхе нечего и думать.

Шагаю по улице под дождем, охваченный ностальгией. Ностальгией по старому дому. Не родному, которого, кстати говоря, я не помню, а по дому Маринова. Когда я, наконец, вхожу во двор, сумерки уже сгустились. Ветер гнет ветки каштанов, но эти подробности пейзажа воспринимаются скорей на слух. Тускло светится лампа над подъездом. Катя с хозяйственной сумкой в руках чуть не сталкивается со мной в двери.

— А, товарищ начальник! — восторженно восклицает женщина-водопад, словно мое появление у них — просто предел ее мечтаний. — А я вот в магазин собралась. . .

— Идите, идите, не беспокойтесь. Мне надо только поговорить с вашей племянницей. Формальность. . .

— И мне тоже сердце подсказывало, что вы зайдете; я ей говорю — не уходи, может, тебя товарищ начальник будет спрашивать, очень симпатичный человек, тот, который ведет расследование. Да где там — разве удержишь. Эти нынешние такие — минутки дома спокойно не посидят. Сделает себе маникюр, покрутится перед зеркалом — и после ищи-сви-

щи. Я вот даже Маре говорю: знаешь, говорю, Мара, эти нынешние. . .

— Простите, что я вас перебиваю. Вы не помните, в котором часу вернулся вчера вечером товарищ Димов?

Глаза женщины заговорщически щурятся. Она наклоняется ко мне.

— Товарищ Димов был вчера в Ямболе. Так он нам сегодня объявил. Но пусть другим рассказывает сказки. Уж я-то знаю, кто здесь, а кто не здесь. Каждый, кто возвращается домой, проходит мимо моего окошечка, и я вижу его ноги, и вчера видела ноги Димова — позднеенько он воротился.

— До или после полуночи, не помните?

— До. Точно помню, что до. Я уж потом, когда он прошел, встала попить и взглянула на часы — не было и полдвенадцатого. . .

— Вы, видать, беспокойно спите.

— В нашем возрасте ведь всегда так — спишь, не спишь — даже и не поймешь.

— А говорите — ничего не слышали, что делалось у Маринова.

Женщина взвешивает, не сболтнула ли она чего лишнего, потом с неуверенной улыбкой говорит:

— Нет, ничего. Если б слыхала, почему бы и не сказать.

— Хорошо, хорошо, — отвечаю я. — А Қолев и Славов дома?

— Доктор здесь и товарищ Славов тоже. Да и я мигом ворочусь, только б мне с Марой, моей подругой, не встретиться. Хорошая женщина, товарищ начальник, да ужасная болтушка. . . Уж на что я не из молчаливых — знаю за собой этот грешок, но Мара,

моя подруга, уж действительно не знает никакой меры. Да и то сказать, товарищ начальник, привыкли уж мы с ней так-то. Бывало бегаешь день-деньской, умаешься, а когда освободишься — куда деться? В кино или там в кафе, как этих нынешних, не пригласят. Всей-то радости, что выйти на улицу да почесать язык с соседками — за это денег не берут. . .

Спускаясь в подвал, я представляю, как, усевшись, бывало, в кружок на низеньких стульчиках перед домом, женщины судачили до позднего вечера, и у меня проносится мысль: не так-то уж радостно жила эта женщина, если для нее единственным удовольствием была бесплатная болтовня. Хотя это, конечно, еще не оправдание для того, чтобы врать в глаза.

Подвал скудно освещается лампочкой. За дверью Колева — оживленные голоса. Мужской и женский. О чем-то разговаривают. Но так как подслушивать не в моих привычках, я решительно стучу. Дверь приоткрывается, и в щель просовывается голова Колева. Нельзя сказать, чтобы выражение его лица было очень гостеприимным.

— Опять я, — срывается у меня с языка довольно глупое замечание.

— Понятно, — холодно кивает Колев. — У меня тоже ненормированный день — могут вызвать в любое время. К сожалению, я сейчас не один — родственница зашла. . .

— Я хотел уточнить одну подробность, но раз так, оставим до завтра, — покладисто соглашаюсь я.

Доктор колеблется и, закрыв за собою дверь, делает шаг вперед.

— Если только одну подробность. . . А то я, греш-

ным делом, подумал — уж не решили ли вы повторить исчерпывающий осмотр, как утром.

— Не бойтесь, раздеваться не понадобится.

Я вынимаю коробку сигарет и угощаю собеседника.

— Ну, — немного нетерпеливо торопит меня Колев.

— Вы тогда мне, помните, сказали, что покойный был здоров, как бык.

— Да, совершенно верно.

— А забыли добавить, что у быка был, оказывается, рак.

— Рак?

Колев кажется удивленным, но не сказать, чтоб слишком.

— Да, рак. Может, вы и принадлежите к школе, которая считает рак пустяком, преходящим недомоганием, но все же надо было упомянуть эту незначительную подробность.

— Как я могу упоминать подробности, которые мне неизвестны.

— Маринов никогда не говорил вам о раке — вообще или в частности?

— Никогда.

Тон категоричен. Выражение лица — тоже весьма категорично.

— А яду у вас, случаем, не просил? Цианистого калия или чего другого?

— Нет. Я вам уже сказал — он сам отравлял окружающих и притом без специальных препаратов.

— Понятно. Но речь в данном случае идет о нем самом, а не об окружающих. . .

Дверь за спиной доктора в этот момент резко распахивается. На пороге вырастает стройная девушка

с красивым и — чтобы быть объективными — недовольным лицом. Она бросает на меня беглый взгляд.

— А, у тебя гость. Я думала — куда ты делся. . .

— Товарищ из милиции, — объясняет Колев, не очень обрадованный появлением родственницы. Потом, вспомнив о правилах поведения, процеживает:

— Познакомьтесь.

Мы подаем друг другу руки.

— Вы тоже гинеколог? — спрашиваю.

— Нет, биолог, если это интересует милицию, — усмехается она.

— Биолог? До сих пор хорошенькие девушки шли прямой дорогой в кино, а теперь — извольте — в биологию. Дожили, нечего сказать.

— В жизни нет ничего непоправимого, — снова улыбается девушка. — Если подыщите мне что-нибудь в кино, можете позвонить.

Она слегка кивает головой и, подчиняясь взгляду Колева, снова исчезает за дверью. Подумать, какой ревнивец!

— Симпатичный биолог, — ухмыляюсь я. — И родственница к тому же.

— Вам не кажется, что ваши мысли работают не в служебном направлении? — прерывает меня врач.

— Что поделаешь! Шерше ля фам, как говорят французы, когда принимают изрекать избитые истины. Но вернемся к нашему вопросу: скажите, с кем еще из врачей советовался Маринов?

— Насколько мне известно, ни с кем. Стал бы он тратить деньги на лечение. Да и не было особых причин.

— Кроме рака, разрешите добавить.

— Не допускаю, чтоб он знал о раке. Во всяком случае со мной он об этом не говорил.

— Значит, тезис о самоубийстве отпадает, — бормочу я себе под нос.

— Что вы сказали?

— Ничего. Просто подумал вслух. Как в романах. Или в сумасшедшем доме. Сам спрашиваешь и сам отвечаешь.

— В таком случае я становлюсь третьим и, пожалуй, лишним собеседником.

— Да, да, идите к своей родственнице. Свой своему поневоле друг.

Вслед за этим я поворачиваюсь кругом и направляюсь к двери Славова. На стук мой никто не отвечает. Я нажимаю ручку двери, и она легко поддается. В помещении никого нет, но в нише, прикрытой полиэтиленовой занавеской, слышится плеск воды.

— Одну минутку, — раздается приглушенный голос из-за занавески. — Можете подождать в комнате.

Передо мной — неширокая постель, застланная безупречно чистым одеялом. Я сажусь и приступаю ждать. Постель оказывается мягкой, и я позволяю себе прилечь, сдвинув в знак отдыха шляпу на затылок, и блаженно закуристь.

Обстановка комнаты не роскошная, но довольно-таки уютная. Словно хозяин задался целью доказать, что и холостяк — тоже человек. И я лелею скромные планы в отношении своей квартиры. Просто откладываю их, пока не решу одну маленькую личную историю. Историю, которая, как я уже упомянул, началась однажды летом на дансинге.

Откинув голову и чуть прикрыв глаза, я глубоко

затягиваюсь дымом и чувствую, как в душе у меня рождается мелодия — старомодное, затащенное танго.

Море шумит внизу, в темноте, а я танцую с ней на веранде и, чтобы отвлечь ее внимание от моего свехоригинального стиля, болтаю всякие пустяки. Потом, устыдившись, наконец, предлагаю ей вернуться на место: «Вот видите — я ни на что не го-жусь. Даже на то, чтобы танцевать танго». «Вы танцуете не так уж плохо, — великодушно возражает она. — Просто нужна привычка». «Нет у меня привычки, — лепечу я с почти незнакомым мне смущением. — Ни танцевать, ни отдыхать. Должно быть, у меня в процессе работы искривился позвоночник. Я вот смотрю на эту невинную салфетку и вспоминаю, что такой салфеткой один садист заткнул рот своей жене перед тем, как пырнуть ее ножом. А за этой банальной бутылкой я вижу другую, совсем такую же — только в вино там долили купороса. Или вилка. . . Вы, небось, и не догадываетесь, для чего может послужить вилка, которой вы поддели огурец. А в прошлом году в Плевене. . .» «Это страшно, — перебивает меня она. — Вы, наверно, переутомились». «Ничуть, я чувствую себя прекрасно. Просто — искривление позвоночника». «Но должна же у вас быть и личная жизнь?» «Должна, — отвечаю. — Теоретически должна. Но боюсь, что ее нету». Мы поднимаемся из-за столика и идем погулять вдоль берега. Громкоговоритель издала посылает нам свою тающую мелодию, а море шумит и шумит в темноте.

Чтобы снова вернуться к действительности, приходится совершить большой скачок от ночного пустынного пляжа, к холостяцкой квартире инспектора.

Незастеленная кровать. . . Шкаф с маленькой стопкой чистого и большой кучей грязного белья и — постойте, это что-то новое! — Форма, которую инспектор никогда еще не надевал и вряд ли когда-нибудь наденет, если не считать того последнего — торжественного и чуточку печального — момента, когда ближние в благодарность за заботу о стольких неопознанных трупах решат позаботиться и о твоём...

Мысль о быстротечности нашей жизни заставляет меня снова закурить. Встав с гостеприимной постели, я прохаживаюсь по комнате. Это дает мне возможность перейти к конкретной оценке окружающей обстановки. Комната — это хорошо известно всем — зеркало проживающего в ней субъекта. Надо только уметь читать это зеркальное отражение. Надо пройти через сотни комнат, чтобы по комбинации мертвых предметов мгновенно представить себе лицо, именуемое Георгием Славовым, которого ты до этого не видел в лицо. Кровать короткая — значит, небольшого роста. Полный комплект туалетных принадлежностей на стеклянной полочке над умывальником — заботится о своей внешности. Отсутствует только гребешок — вероятно, плешив. Всюду царит мелочный порядок — старый холостяк с устоявшимися привычками, свойственными старым девам. . .

Занавеска приподнимается, и в комнату, завернувшись в мохнатую простыню ослепительной белизны, входит высокий молодой человек с густой темной шевелюрой.

— Товарищ Славов? Простите, что пришел не вовремя, но мне необходимо с вами поговорить.

— Прошу вас, — любезно кивает Славов. — Чем могу быть полезным?

— Вы, вероятно, уже догадываетесь: я из милиции. Пришел по поводу несчастья с Мариновым.

— Какого несчастья?

— Так вы не в курсе? Маринова сегодня утром нашли мертвым. Отравление.

Славов буркает что-то под нос. Слов не улавливаю, но чувствую — это не соболезнавание.

— Нельзя сказать, чтобы вы были потрясены.

— Нет, — признается инженер.

— Скорей наоборот.

— Пожалуй, да, — соглашается охотно Славов. — А что — вас это удивляет?

— Меня при моей профессии ничто не удивляет. Кроме неизвестности. А в этой истории — одна сплошная неизвестность.

— Вряд ли я могу быть вам полезен. Я абсолютно не в курсе происшедшего.

— Не беспокойтесь. В этом доме все, как один, не в курсе. И меня, откровенно говоря, интересуют самые простые вещи, известные, вероятно, каждому.

— Но тогда почему вы обращаетесь именно ко мне? Колев, мне кажется, тоже дома.

— Да, но он сейчас занят. Биологией. Специалист-биолог посвящает его в таинства учения о виде.

— А, Евтимова. . . Почему такой тон? Это его невеста.

— А он сказал, что родственница. Ну, да бог с ней. Перейдем тогда к другим соседям. Вы мне разрешите сесть?

— Извините, — краснеет Славов. — Мне следовало самому вам предложить.

Мы садимся, и я снова возвращаюсь к своему вопросу, а Славов повторяет свой ответ.

— Я совершенно не в курсе происшедшего. С соседями я, признаться, дружбы не вожу.

— Ни с кем? — спрашиваю я в упор.

— Почти ни с кем, — уточняет Славов.

— «Почти» — это звучит уже более обнадеживающе. А как, простите, зовут исключение — Дора или Жанна?

— Жанна. И притом не сейчас. Раньше. Теперь мы с ней не разговариваем.

— Жаль. Порвать единственный контакт с этим миром. . . Держу пари, что причиной всему — Маринов.

— Причин много. И Маринов в данном случае не при чем. Просто дружба, которая расстроилась из-за различия во вкусах и взглядах на жизнь.

Славов протягивает мне пепельницу — опасается, как бы я не просыпал пепел на пол.

— Хорошо, хорошо, — отступаюсь я. — Не будем углубляться в интимные подробности. Но вы поймите, что мне важно знать, состоял ли Маринов с Жанной в известных отношениях или нет.

— Маринов, мне кажется, в последнее время заигрывал с Жанной, но не допускаю, чтобы он имел успех.

— Что вам мешает допускать это?

— То, что я все-таки знаю Жанну. Она поступает, может, не всегда разумно, но всегда руководствуется желанием. А чтобы такая девушка, как она, могла бы взять да увлечься Мариновым, это ж, знаете, чересчур. . .

— А что думает по этому поводу тетя Катя? — спрашиваю я и, прикурив одну сигарету о другую, бросаю окурок в пепельницу.

— Не знаю. Поймите же наконец: я искренне желаю вам помочь, но жизнь обитателей этого дома меня действительно никогда не интересовала.

— Ну, что ж, оставим этот вопрос. Кто был вчера вечером в комнате Маринова?

— Понятия не имею.

— Но вы хоть слышали шаги? — устремляю я взгляд на потолок. — Ваша комната и комната тети Кати — точно под квартирой Маринова. Какие вы слышали шаги — мужские или женские?

Славов тоже невольно бросает взгляд на потолок и тут же отводит его в сторону.

— Я не обратил внимания. Вы бы лучше Катю спросили. У нее слух острей, особенно на такие вещи.

— Спасибо за идею. Непременно ею воспользуюсь. Но пока я спрашиваю вас. Что вы делали в это время?

— В какое время?

— Приблизительно между десятью и двенадцатью.

Инженер пожимает плечами и кивает головой на стол, заваленный чертежами.

— Работал. А потом лег спать.

— Когда легли?

— Точно не помню.

Я чувствую, что человеку становится неловко из-за собственного упорства. И считаю необходимым ему помочь.

— Невозможно, чтобы вы не помнили. Вы слишком аккуратный человек. Достаточно окинуть взглядом вашу комнату, чтобы убедиться, что вы аккуратны во всем. Голову даю на отсечение, что вы ложитесь в кровать по часам и по часам встаете. И что вчера в ушах у вас не было ваты. Зачем же вы тогда пытаетесь мне лгать?

Лицо Славова приобретает поистине страдальческое выражение.

— А зачем вы требуете от меня положительного ответа, когда я сам еще не убежден в некоторых вещах? Ведь произвольное заявление может навлечь на человека беду. . .

— Вы имеете в виду Жанну?

— Вовсе нет, — дергается Славов. — Жанна на это не способна.

— Тогда освежите вашу память и ответьте на мой вопрос.

— Я сказал вам: точно не помню. Лег что-то около двенадцати. Я всегда ложусь в это время, хоть и не смотрю на часы, как вы предполагаете. Спустя полчаса или час наверху действительно послышались шаги, но я не обратил внимания, чьи и сколько было человек. Я, вы сами видите, работаю, а работая, не замечаю ничего вокруг.

— Ну, что ж. Пусть будет так. Надо тогда поговорить с Жанной. Авось она слыхала больше вашего.

— Не думаю, — скептически улыбается Славов. — Она из тех, что возвращаются домой раньше полуночи только в том случае, если у них грипп.

— Значит, ждать ее здесь нет смысла?

— Конечно. Она сейчас убивает время где-нибудь в «Варшаве» или «Берлине», а это, насколько я слышал, довольно длительная процедура.

— Простите, у вас всегда так прибрано? — вырывается у меня без всякой связи.

— Как именно?

— Да вот так: все на своем месте. Иными словами — вам никогда не случается искать свои домашние туфли?

Славов озадаченно смотрит на меня.

— Зачем же искать, когда я знаю, где они. . .

— Вот этого-то ответа я от вас и ждал. Впрочем, к делу это не относится. Ну, не буду больше вам мешать. Всего хорошего. С легким паром.

*

«Варшава» или «Берлин»? «Варшава» ближе. Так же, как и в географии. Поэтому я направляюсь туда. Заведение, как и следовало ожидать, переполнено в этот час. Светское общество. Главным образом — полунесовершеннолетние, зеленая молодежь. Букет очаровательных девушек. И среди них — по крайней мере десяток Брижитт Бардо. Инстинкт подсказывает мне, что мой объект — вряд ли среди тех, кто увлекается мороженым. Под звуки музыки пересекаю зал. Это не моя музыка. И к лучшему — некогда отвлекаться экскурсами в прошлое. Прежде всего дела.

Спустившись по лестнице, заглядываю в бар. Затем — в соседнее помещение. Мне нужно разыскать Жанну. Лучше всего было бы написать эдакий небольшой плакатик. Но когда ты разыскиваешь девушку по каштановым взбитым волосам, бледно-розовой губной помаде и модному бежевому пальто, приходится обратиться к интуиции. Или к официантке.

На мой вопрос официантка глазами показывает мне столик в углу. Так вот она, Жанна. Наконец-то. И к тому же совсем одна.

Я подхожу и отодвигаю стул.

— Занято, — сухо замечает девушка.

— Вижу, но готов примириться, — усаживаюсь я удобнеей.

— Я позову официантку, — грозитя Жанна.

— Прекрасная идея. Рюмка коньяку в такую сырость будет очень и очень кстати. Но давайте сперва поговорим.

— Я с незнакомыми не разговариваю.

— Ну, что ж, познакомимся и, как знать, может быть, полюбим друг друга. Я, между прочим, из милиции.

Жанна рывком скидывает голову, но тут же придает себе безразличный вид. Справедливости ради следует признать, что она действительно привлекательна. Не сказать, чтобы Венера Милосская. Скорее уменьшенный, карманный формат. Но в этом чуточку бледном лице с капризно вздернутым изящным носом и капризно изогнутыми губами есть своя прелесть. О глазах я не говорю: они как зеркало человеческой души в этот момент закрыты.

— Я искал вас в связи с Мариновым, — говорю я как можно галантней. — С ним — вы, наверно, уже знаете — произошла вчера неприятность.

— Я слышала, что он умер.

— Вот именно. И так как я со своей стороны слышал, что между вами существовала, может быть, чисто духовная близость, я позволил себе. . .

Тут мне приходится прервать на полуслове — к нам, что бывает редко в этих местах, подходит официантка.

— Что вам заказать? — спрашиваю я Жанну.

— Ничего.

— Но все-таки. . .

— Чашку кофе, — сдается она с досадой.

— Чашку кофе и рюмку коньяку.

Затем возвращаюсь к нашей теме.

— Я говорил, что позволил себе отнять у вас сегодня немного времени, так как узнал, что между вами существовала близость.

— Зря теряете собственное время, — хмуро бросает Жанна. — Никакой близости — ни духовной, ни иной — между мной и Мариновым не существовало.

— Но он был явно равнодушен к вам, — осмеливаюсь я напомнить факты.

— Я тоже к тысяче вещей равнодушна, но равнодушные — это одно, а реальность — совсем другое. Маринов хотел жениться на мне, но — вы сами знаете — для этого нужно согласие двоих.

— И все же — чтобы такой практичный человек мог питать известную надежду, он должен был рассчитывать на что-то.

— Рассчитывал на мою тетку. Я ему так и заявила: «Раз ты договорился с теткой — женись на ней и не порти мне больше пейзажа!»

— Со старшими так не говорят.

— Я привыкла говорить, что думаю.

— Это мы сейчас посмотрим.

К нашему столику подходит пара. Это уже не полунесовершеннолетние, а просто несовершеннолетние, особенно девушка. Это не мешает им однако держаться с самоуверенностью светских людей. У парня — дымящаяся сигарета в зубах и горьковато-пресыщенное выражение человека подземного мира. Подземного мира Чикаго, например.

Они выдвигают свободные стулья, собираясь без церемоний расположиться за нашим столиком.

— Занято! — отрубая я.

— Ничего, мы сядем, где не занято, — снисходительно смотрит на меня человек подземного мира и морщится, потому что папиросный дым попадает ему в глаза.

— Что, получили? — торжествующим шепотом спрашивает меня Жанна.

Я только собираюсь доказать, что нет, как рядом с нами вырастает фигура еще одного пришельца. Он гораздо старше тех двух — ему уже, может быть, все двадцать. Рост у него не ахти какой, но телосложение хорошее. Физиономия тоже не уродливая: если б не наглые масляные глаза, право, совсем была бы ничего. Пришелец, видимо, под градусом.

— Эй, ты, представитель низших классов! — обращается он к малолетнему. — Ступай, пока тебя не нашла мать. И смотри не забудь по дороге отвести девочку в детский сад.

Для вящей убедительности он кулаком подталкивает незадачливого кавалера к выходу.

— Как вы смеете. . . — возмущается кавалер, оглядываясь по сторонам, если вдруг понадобится помощь.

Но помощи ждать неоткуда. Дым в зале настолько плотный, что вряд ли кто замечает что-либо вокруг.

— Давай сматывай, пока цел! — настаивает старший и нетерпеливо тянет молоденькую даму за рукав. Девушка вынуждена встать. Повернув к столику возмущенные, но не очень героические лица, малолетние отступают.

Победитель небрежно опускается на стул и тут только замечает мое присутствие. Лицо его складывается в недоуменно-презрительную гримасу.

— Познакомьтесь, — спешит вмешаться Жанна. — Тома Симеонов. Мы зовем его просто Том.

— Петр Антонов, — сообщаю я. — Можете звать меня просто Пепи.

— Охота еще знакомиться со всякими, — лениво рычит Том.

Потом поворачивается к Жанне.

— Где ты откопала этого старика?

— Товарищ. . .

Я трогаю Жанну за локоть. Она умолкает. Но Том, хотя он и под мухой, успевает уловить этот жест и истолковывает его по-своему.

— А, уж и локотки начинаем пожимать. . .

И неожиданно дает мне под столом сильный пинок ногой. Ботинок у парня не только острый, но и в достаточной мере твердый.

— Я случайно вас не задел? — осведомляется он со сладчайшей улыбкой.

— Ничего, со всякими случается, — наступаю я ему на ботинок всей тяжестью ноги.

Том от боли меняется в лице. Он пытается освободить ногу и, когда ему это удастся, цедит сквозь зубы:

— Не прикидывайся чурбаном. Выйдем поговорим?

— Я заказал рюмку коньяку, но, чтобы вас не задерживать. . .

Мы одновременно встаем. Мне, как старику, предоставляется честь идти к выходу первым. Бросив беглый взгляд через плечо, я убеждаюсь, что и Жанна, отстав на несколько шагов, движется за нами следом.

Ночная улица почти пуста. Дождь льет как из

ведра. Не успеваю я это констатировать, как ощущаю удар в затылок. Разворачиваюсь и, взяв в железные клещи шею парня, тащу его, как мешок, в соседний подъезд. Продолжая сжимать ему шею, я прислоняю его к стене.

— Слушай, ты, молодой подонок! Я сказал «чтобы вас не задерживать», но имел я в виду обратное. . .

— Том, не глупи, прошу тебя! — кричит появившаяся в подъезде Жанна. — Товарищ Антонов из милиции. . .

Том, делавший тщетные попытки высвободиться из моих объятий, тут же, враз, перестает трепыхаться. Я убираю руки.

— Позже не могла сообщить? — бурчит он, потирая шею.

Затем поворачивается ко мне.

— Что ж вы молчали, что вы из милиции? И даже если из милиции, это не значит, что вы можете хватать за локоть мою невесту.

— Ты кем работаешь? — спрашиваю я, не прислушиваясь к его вяканью.

— Я не работаю. Учусь.

— Чему? Сомнительно, чтобы твоей специальности обучали в университете. Ну, как бы то ни было, все это мы установим в отделении. . .

— Пожалуйста, не задерживайте меня, — хнычет, как мальчишка, Том.

— Чего ты так испугался — справки? Или, может, она не первая? Может, десятая или пятнадцатая?

— Простите, прошу вас, — повторяет он.

— А ты к тому же еще и подлец. В спину норовишь ударить. Сейчас я вижу, что у тебя и ни капли человеческого достоинства.

— Какое тут достоинство, — лепечет Том. — Против силы не попрешь.

— А против кого? Против детей? Или под столом ногой? Да ладно убирайся с глаз долой! Но не строй никаких иллюзий: я тебе дал отсрочку.

Он поворачивается и покорно, не взглянув на свою невесту, плетется назад, к «Варшаве». Жанна, готовая последовать за ним, нерешительно смотрит на меня.

— Вы останетесь, — говорю. — С вами я еще не кончил.

— Как у вас быстро испортились манеры. . .

— Манеры зависят от обстоятельств. С такими типами, как ваш жених, поневоле забудешь о хорошем тоне.

— Пока он мне еще не жених. Но это не исключено.

Обмениваясь подобными любезными репликами, мы, не сговариваясь, машинально, двигаемся вниз по улице.

— Что вас связывает с этим типом? Вместе, что ли, занимаетесь?

— И это имеет отношение к делу?

— Это имеет отношение к вам. А возможно, и к делу.

— По-моему, каждый хозяин своих вкусов.

— Можно сделаться и их рабом. Когда вы в последний раз были у Маринова?

— Никогда я не была у Маринова. То-есть, никогда одна.

— А вообще?

— Раза два заходила с тетей. Послушать, как было бы разумно зажить своим домом, наконец.

— А что это тете так приспичило выдать вас замуж?

— Очень просто — хотела устроить мою судьбу. А это был человек с деньгами. Не то, что прежде, конечно, но все-таки. . . От брата из-за границы получал, дачу недавно продал. . .

— Кроме суммы, полученной за дачу — он положил ее на книжку, — других денег у него не нашли.

— Не знаю. Деньги у него всегда водились. Может, успели обобрать.

— Кто, по-вашему, мог это сделать?

— Не задумывалась. Да и вряд ли бы надумала. Я не инспектор из милиции.

Девушка останавливается и поворачивается ко мне.

— А куда мы, в сущности, идем?

— Вот вопрос, который нам следовало бы почаще задавать себе.

— Я спрашиваю в самом прямом смысле.

— Откуда мне знать? По-моему, к вам. . . Но, может, вы хотите вернуться в «Варшаву»!

— Да, нет. Поздно. Пора домой.

Мы двигаемся дальше.

— Вы всегда так рано возвращаетесь?

— Как это ни невероятно, да.

— Нет, почему же невероятно? Вчера вы тоже вернулись рано?

— Вчера я вообще не возвращалась.

— А где вы были?

— Вашим вопросам нет конца. И к чему вам такие подробности?

— Эта подробность мне нужна. А еще она нужнее вам. Вы не слыхали слова алиби?

Жанна вскидывает на меня глаза и тут же опускает их: на тротуаре лужи.

— Алиби, насколько мне известно, бывает необходимо человеку, которого в чем-то подозревают, — медленно говорит она.

— Ну, что ж, пусть будет так. Где ж вы были вчера вечером? Вы, конечно, уже придумали ответ?

— Ночевала у подруги.

— Когда вы говорите, по возможности называйте фамилии и адреса, — терпеливо объясняю я. — Формализм, но ничего не поделаешь. И не забывайте, что все немедленно будет проверено. До мельчайшей подробности. Включая и упомянутую подругу.

— Вы ужасны, — вздыхает девушка. — Я была вчера у Тома.

Меня передергивает. Не от признания, а от ливня, который вдруг обрушивается на нас. Налетающий порывами ветер колеблет плотную пелену дождя, светящуюся вокруг уличных фонарей и мутную в тени высоких зданий, но одинаково мокрую и тут, и там. Жанна быстро раскрывает зонтик.

— Идите сюда, — приглашает она.

— Спасибо. Терпеть не могу зонтов. Особенно дамских.

— Что за ерунда. Идите, а то промокнете до нитки.

Она по-свойски хватает меня под руку и тянет к себе, под зонт, а я размышляю о том, до какой степени ослабился страх перед властью в наши дни. За такие фривольные жесты прежде, бывало, арестовывали.

Так мы и шагаем некоторое время и, надо признать, несмотря на тесноту, я стоически переношу

испытание. И все же, проходя мимо дома с эркером, я собираюсь с духом и выдергиваю руку.

— Давайте переждем здесь. Этот зонтик, право, унижает мое мужское достоинство.

Мы останавливаемся под эркером. Уличный фонарь бросает блик на красивое лицо девушки. Вокруг низвергаются потоки воды, похожие на блестящие занавески из бусинок, что вешали прежде в парикмахерских.

— А сейчас, — продолжаю, — когда мы спаслись, позвольте вам заметить, что показания такого свидетеля, как ваш Том, гроша ломаного не стоят.

— Том, — возражает Жанна, — полноправный гражданин.

— Это его качество навряд ли особенно потрясет следователя. Зато поступки этого гражданина наверняка будут учтены.

Я скашиваю глаза на девушку. Сейчас, в голубоватом свете фонаря, лицо ее кажется еще более бледным, а губы — еще темней. Как будто они покрашены черной краской, а не розовой помадой.

— Вы мне не ответили, что вас связывает с подобным типом, а, может, и с коллекцией таких типов, потому что особы этого вида обычно держатся стадами.

— Ничто меня не связывает ни с кем.

Тон усталый. Почти безразличный.

— Довольно печальное признание. И капельку лицемерное.

— Я не собираюсь никого убеждать, — роняет она тем же бесцветным тоном.

— Впрочем, из того, что вы сказали до сих пор, это единственное, что хоть немного смахивает на

правду. И все-таки вы предпочитаете эту среду, а не какую-либо другую.

— Какой смысл пускаться в объяснения? Вы, видно, специалист по мертвецам, а я пока еще не мертвец.

— Бросьте это слово. В ваших устах оно звучит ужасно некрасиво.

Девушка смотрит на меня внимательней, словно постепенно пробуждается от сна.

— Если б у вас было хоть какое-то понятие о красивом и некрасивом, вы давно бы уже покончили со всеми этими ехидными вопросами, за которыми кроется бог весть что. Неужели вы не можете понять, что и мне хочется, как всем, сесть за чистый полированный столик, выпить не спеша кофе, посмотреть на людей и почувствовать, что и на тебя тоже поглядывают и что ты нравишься. И вокруг чтоб было чуточку светлей, чем в том старом отвратительном доме, который сам похож на мертвеца, и чтоб пахло не плесенью, а чем-то чистым, и . . .

По лицу девушки пробегает дрожь. Я спешу предотвратить кризис.

— Ну, ладно, ладно, не ищите оправданий. Еще немного — и вы расплачетесь над своей несчастной судьбой. Час-полтора тому назад я был в одной из комнат в том же доме, который похож на мертвеца. Там нет пластмассы и неоновое освещение, но в общем обстановка довольно приятная. Я не говорю уже о хозяине.

Жанна иронически смотрит на меня. Кризис, как видно, миновал.

— И сколько вы пробыли в этом раю?

— К сожалению, очень недолго. Мной уже овладело влечение к вам.

— Потому-то вам и понравилось, что вы пробыли там недолго. А посидели бы там побольше . . . — Девушка покашливает и меняет голос. — «Убери сумку — перепутаешь чертежи». «Будь любезна, не играй карандашами — это тебе не карты, чтоб раскладывать пасьянс». «Здесь не трогай». «Там не садись». «Целый месяц не была в кино? Ну, и что же, я два месяца не был и, как видишь, не умираю». «Поголужать? Некогда мне гулять». А вообще-то вы правы — чисто. Даже слишком, по-моему. Чисто, но мухи дохнут со скуки.

— Может, и скучно, — соглашаюсь я. — Не то, что делить кусок, пардон, коньяк с настоящим героем. «Давай сматывать, пока цел!» «Где ты откопала этого старика?» «Не прикидывайся чурбаном!» Лев. Да только из трусливых.

Девушка чуть заметно улыбается.

— Том не трус. Во всяком случае до сих пор я за ним этого не замечала. И не судите о человеке по каким-нибудь двум-трем фразам. Ваши выражения, между прочим, тоже не всегда изысканны.

— Да, но в спину я никогда не бью.

Жанна делает вид, что не слышит.

— Дождь перестал. Пошли.

Мы выходим из-под прикрытия. Дождь, действительно, едва накрапывает, и зонтик убран, и вообще нет никаких видимых причин идти, так тесно прижавшись друг к другу. Но мы тем не менее идем. И не только по моей вине.

Дует холодный, пронизывающий ветер. Лампы

и деревья бросают свет и тень. Но все это довольно сложно описывать . . .

— Декабрь . . . Какой тоскливый месяц, — произносит негромко девушка, словно разговаривая с самой собой.

— Тоскливая погода или веселая — это зависит от человека, многозначительно замечаю я. — И жизнь, по-моему, тоже.

— Вы думаете, можно наладить жизнь, как ты хочешь? Что-то не верится.

— Мы углубились в философию . . . Во всяком случае, если человек не может сам наладить свою жизнь, разумней прибегнуть к помощи того, кто может ее оказать.

— Вы рождены, чтобы быть проповедником.

— Не замечал за собой такой способности. Во мне говорит самый банальный практицизм.

— Да, — вздыхает Жанна. — Найти бы человека, на которого можно опереться . . .

Она опирается на меня. Я собираюсь ей сказать об этом, но потом решаю промолчать.

— Умного и прямого . . . Настоящего мужчину . . . И по возможности не очень скучного . . .

Что ж, я не возражаю. Мы продолжаем медленно шагать. Сейчас за нас говорят наши плечи.

— Скажите, после стольких ваших вопросов можно и мне задать один? — неожиданно спрашивает девушка.

— Разумеется. Почему же нет?

— Вы всегда так обращаетесь с женщинами?

— Как это «так»?

— Как с объектами допросов?

Ого, с глубоко философских тем мы съезжаем те-

перь на скользкие. Хорошо, что дом уже рядом. Останавливаемся в темноте.

— Для меня и объект допросов — это прежде всего человек, — парирую я удар.

— Вывернулись все-таки, — смеется Жанна. — Но так или иначе я начинаю думать, что вы вовсе не такой ужасный, как кажется на первый взгляд.

— Конечно. Я просто сентиментальный человек, обреченный заниматься трупами.

— Не знаю, какой вы, но не грубиян, роль которого вы играете.

— Все мы играем какую-нибудь роль. А некоторые сразу несколько.

— Только не я, — возражает девушка. — По крайней мере сейчас здесь с вами. С вами мне хорошо.

Момент опасный. Жанна еще теснее прижимается ко мне. Рука ее как бы несознательно скользит по моей и берет меня за локоть, лицо приближается к моему, ресницы смыкаются. Я тоже почему-то наклоняюсь к ней. Губы ищут губ, как сказал поэт, не помню какой. За четверть секунды до поцелуя я вдруг слышу собственный голос:

— Эта помада . . . И кто только вам сказал, что она вам идет?

— Нет! — резко отшатывается Жанна. — Вы не играете никакой роли. Вы чистопробный грубиян.

— Неподкупный, моя милая девочка, это точнее, — поправляю я. — Ну, беги, а то еще простудишься. И не сердиться.

Я отечески похлопываю Жанну по спине.

— Оставьте. Я не желаю вас больше видеть . . .

Каблучки сердито стучат по выложенной каменными плитами дорожке.

— Вот этого я не обещаю. Все зависит от обстоятельств.

Жду, пока Жанна скроется в подъезде, надеясь хоть на прощальный взмах рукой. Нет. Она даже не оглядывается. Бесшумно ступая по аллее, я сворачиваю в сторону, в кусты. Найдя удобное место для наблюдений, устраиваюсь в зарослях.

Зловеще . . . таинственно . . . и ужасно грязно. Под ногами — раскисшая земля. Я уж не говорю о сырости. Если Шерлок Холмс действительно существовал, то мне ясно, от чего он умер. Таких ревматизм не отпускает. Хорошо еще, что в наши дни романтическая привычка наблюдать из-за кустов исчезла. Хотя иногда, как видите, случается . . .

Снова слышится стук каблучков. Не сердитый, а торопливый. Это каблуки Жанны. Я вижу, как бежевое пальто скрывается за углом дома.

Бедняжка! Протащить целый километр, чтобы показать себя скромной девочкой, которая рано ложится баиньки, и в итоге — крушение легенды. Тетя, тетя, где же ваша крепкая педагогическая рука? Или вы уже спите, тетя? Да, в окошке подвала темно.

А инженер корпит над чертежами. И доктор бодрствует. И почтенный казначей с преданной подругой своей жизни. Только об адвокате ничего неизвестно. Скрытный человек — его окно выходит на другую сторону дома.

Да, тоскливый месяц декабрь. А для кого-то и июль был тоскливым. Только не для меня, если речь идет о последнем июле.

Каждый вечер мы ходили гулять, все по той же тропинке над морем, все до того же миндального

дерева на каменистом склоне горы. Там мы садились и молчали — я главным образом — или разговаривали — главным образом она. Я слушал о давно забытых вещах, и мне казалось, что слышу о них впервые. Она говорила мне о книгах, и я вспомнил, что уже с каких пор ничего толком не читаю. Она рассказывала о детях, и я чувствовал, что уже давно перестал думать о детях — «я, знаете, детской преступностью не занимаюсь». Она говорила мне о том, как протекает ее день в маленьком провинциальном городке, и о тысяче других вещей, которых я не запомнил — вероятно, потому, что внимание мое в это время было приковано к ее лицу. Хоть я и старался не подавать виду. Какое лицо! Если вы не верите, снимок дома, на столе.

Мне не нужно носить с собой снимка — достаточно только прикрыть глаза, и в памяти, где-то в темноте под веками, всплывает ее лицо. Плохо только то, что в нашем деле нельзя, увы, закрывать глаза — надо смотреть в оба.

В кабинете доктора гаснет свет. Потом ложится и инженер. У кассира погасили еще раньше. Дом погрузился в темноту. Полночь . . . Час, когда совершаются убийства и закрывается «Венгерский ресторан». Зловещий час. Все живое засыпает.

А мертвец просыпается. Да-да, без шуток, за темным стеклом зимнего сада, принадлежавшего Маринову, загорается огонек. Он то теряется, то снова вспыхивает, переползает туда-сюда. К сожалению, мертвец этот мой, и я не могу ему позволить делать все, что ему взбредет в голову.

Осторожно — чтобы, упаси боже, не увидел преступный глаз, а главное — чтобы не плюхнуться в

лужу — выхожу из-за кустов. Скользнув вдоль фасада, подкрадываюсь к двери зимнего сада и бесшумно отпираю ее соответствующим приспособлением. Потом резко распахиваю дверь, ведущую в комнату Маринова, и прорезаю темноту лучом карманного фонаря. Луч прямо ударяет в глаза копошащегося у шкафа человека.

Так вот он где, скрытный адвокат!

— Пришли к покойнику? — подмигиваю я. — Выразить ему соболезнование?

Димов, не говоря ни слова, выпрямляется и, закрыв одной рукой глаза, другой пытается незаметно спрятать в карман фонарик.

— Не стоит, — советую. — Испортите костюм. Да он вам больше все равно не понадобится. Положите его сюда, на стол. Вот так.

Адвокат молча подчиняется.

— Ну, что — придумали объяснение? Только учтите: такие вещи придумывают заранее.

К Димову, наконец, возвращается дар речи.

— Вы застали меня в неловком положении. Признаю. Но не следует делать поспешных выводов.

— Вывод — это не ваша забота, — успокаиваю его я. — Подумайте лучше об объяснении.

— Я искал письма.

— Раз они ваши, почему же вы не попросили их у моих людей?

— Этого-то я и хотел избежать, но раз вы меня все равно застали . . . Это были письма, вернее, ничего не значащие записки покойной супруге . . . э . . . э . . .

— Покойного, — прихожу я ему на помощь.

Димов кивает.

— Он, знаете, погуливал. И жена решила ему ото-

мстить. Так между нами началась . . . установились известные отношения . . . И в тот период . . . по различным поводам . . . я писал ей эти записки. Однако после смерти покойной Маринов нашел их и стал мне ими тыкать в нос. И ни в какую не желал уничтожить. Мне было просто неудобно, не хотелось, чтобы эти глупости увидел чей-то посторонний глаз. И я решил их разыскать . . .

— И как, нашли?

Димов беспомощно разводит руками.

— Представьте, нет. Очевидно, Маринов все-таки их уничтожил.

— Смотрите, как все, оказывается, невинно. А я-то подумал . . . Но раз так, почему вы не зажжете электричества, а копаетесь в потемках?

— Из-за Баева. Он такой подозрительный . . .

— Даже по отношению к вам? Человеку вне всяких подозрений?

Я на шаг подхожу к адвокату и направляю ему луч в лицо.

— Слушайте, Димов. Я не перевариваю лжецов. У меня такая профессия. Они создают мне уйму неприятностей. Но если лжец к тому же и нахал . . . Иными словами: если такому, как вы, придется встретиться с таким, как я, вы поплатитесь за это совпадение.

Димов заслоняется от света рукой. Он смотрит в сторону, будто разговаривает не со мной, а с портретом Маринова.

— Я рассказал вам все, как есть. Если у вас другая версия, попытайтесь ее доказать. Хотя я не понимаю, куда вы клоните . . .

— Отлично понимаете, куда.

Димов поворачивается было ко мне, но луч фонарика ударяет ему в глаза, и он снова устремляет взгляд на портрет покойного на стенке.

— Но бог мой — если б я отравил Маринова, я взял бы все, что мне нужно, вчера . . .

— Логично — при условии, что, подбавив ему в рюмку яду, вы остались с ним до самой смерти. А это хоть и удобно, да не всегда возможно. Поэтому иногда приходится возвращаться на место дорогой сердцу утраты. А кроме того, я еще не сказал, что именно вы отравили Маринова. Откуда у вас такие мысли?

— Перестаньте, я не ребенок, — машет рукой Димов. — Вы забываете, что и моя профессия связана со следствиями и процессами.

— В таком случае, вы, наверно, понимаете: у меня достаточно оснований для того, чтобы задержать вас . . .

Димов безмолвствует.

— . . . Но я, как мне только что пришлось признаться в другом месте и по другому поводу, — сентиментальный человек . . . Арест от вас не уйдет. Если это, разумеется, будет необходимо.

Адвокат направляется к двери. Походка у него не очень бодрая. Видно, амнистия его не успокоила. Что поделать — человеческая слабость: мы всегда ожидаем большего.

Выждав, пока закроется дверь, я предусмотрительно гашу фонарик. Нечего зря расходовать батарейку, хотя совершенно неизвестно, когда она мне опять понадобится. Это вам не роман, где из карманов то и дело вытаскивают фонари, пистолеты и жевательную резинку.

Комната снова погружается во тьму. Я подхожу к окошку и, глядя в сад, поддаюсь легкой меланхолии. Тоскливый месяц — декабрь. Но вот за стеной раздаются голоса. Сначала тихие, приглушенные, они постепенно становятся все громче и рассеивают мою тоску. Казначей и его преданная подруга. Проснулись и, естественно, поцапались. Суть спора трудно уловить, но отдельные трогательные эпитеты звучат с удивительной отчетливостью. Надо ведь — даже в комнате мертвеца не найдешь настоящего покоя! И все же здесь уютно — я хочу сказать по сравнению с мокрыми кустами.

Голоса постепенно затихают. Ругань — какое бы это ни было увлекательное занятие — в конечном счете утомляет. Я тоже испытываю известную усталость и позволяю себе присесть на кровать, где утром лежал знатный покойник. Слышно, как в тишине тикает будильник. Идет, как это ни странно. Время продолжает свой беспощадный бег. Жизнь сокращается еще на день, и на день — нет худа без добра — приближается дата получки. У этих будильников хватает завода примерно на двадцать шесть часов... Значит, самоубийца, приступая к делу, предварительно завел часы? Потому что этот будильник явно заведен перед тем, как пробил роковой час. Если самоубийца — человек логичный, он должен был бы знать, что на страшный суд его поднимут и без будильника. Представляю — завожу будильничек и глотаю цианистый калий . . . Нет, звучит чересчур фальшиво. Покойник не был таким . . . чурбаном.

Я продолжаю рассеянно слушать тиканье часов, пока, наконец, сознаю, что к нему прибавилось какое-то постукивание. Может, появился второй

будильник? Вот так-так! Неужели я попал в блаженную эру кибернетики, и машины уже производят потомство? Увы, радуюсь я недолго: звук доносится со двора. Знакомые каблучки стучат по аллее. Сначала быстрые и решительные. Потом медленные и осторожные. Наконец, они затихают, но за стеклом зимнего сада вырисовывается силуэт Жанны.

Возвращается, милая девочка. Услышала зов моего сердца. Легкий металлический звук показывает, что Жанна отпирает дверь. Маленькое усилие. Готово.

Я сравнительно быстро встаю и прячусь за огромным зеркальным шкафом. Неприлично сидеть, как пень, когда в комнату входит дама.

Дама входит и, остановившись на мгновение, чтобы сориентироваться в темноте, медленно идет ко мне. Шутки в сторону — она и впрямь услышала зов моего сердца.

Девушка уже совсем рядом со мной. Мне, наконец, удается побороть стыдливость.

— Любимая, — произношу я с соответствующей дозой нежности.

Вместо ласкового мурлыканья — сдавленный крик испуга.

— Милая девочка! — настаиваю я.

И, чтобы пролить свет на наши отношения, зажигаю электрический фонарь.

— Садист! Уберите этот луч!

— Хорошо, — соглашаюсь я с присущим мне добродушием. — Но давайте отыщем сперва деньги.

— Какие деньги?

— За которыми вы пришли. Деньги Маринова.

— Не нужны мне никакие деньги!

— А что же вы тогда ищете? Секретаря партийной организации? Он только что ушел, старик. Внезапно почувствовал себя неважно и попросил извиниться перед вами. Или нет, как это я не догадался: убийца возвращается на место преступления. Об этом пишут и в книжках . . .

— Перестаньте! Вы сведете меня с ума! — стонет Жанна, закрыв лицо руками.

— Тогда говорите! Быстро!

Она отворачивается от луча фонаря, но, встретившись со стеклянным взглядом Маринова, смотрящего с портрета, опускает глаза.

Я терпеливо выжидаю. Бывают минуты, когда лучше всего просто молча подождать.

— За деньгами пришла, — выдавливая из себя Жанна. — В сущности, они мои . . . Он обещал их мне . . . Обещал купить меховое манто . . . Значит, деньги эти мои. Я просто пришла их взять.

— А почему вы не сказали мне раньше? Не требовали своих денег?

— Я подумала . . . Я подумала . . . что вы можете подумать невесть что.

— А сейчас как вы полагаете, что я думаю?

Она молчит. А потом опять механически повторяет:

— Он мне обещал . . . Это мои деньги.

— Опоздали. Мы забрали их еще утром. Они лежали именно там, где, как вы знаете, должны были находиться. Вот в этом комоде, в тайничке, в ящике для белья. Забрали, чтоб они не ввели в искушение какую-нибудь маленькую воровку.

— Я не воровка . . . — Голос почти беззвучен. — Деньги мои . . . Он мне обещал . . .

— А за что? В награду за целомудрие? И как это вы, не имея ничего общего с Мариновым, побывав у него всего два раза и притом в компании с тетей, знаете, где он прятал деньги? И откуда у вас этот ключ от зимнего сада? И кто именно заставил вас прийти за деньгами?

— Погодите . . . Я вам объясню . . .

— Мне надоели лживые объяснения. Объяснять будете в другом месте. Там допросы ведут короче. Без интимностей и интермедий. А сейчас — живо домой! Получите повестку — явитесь.

И — проклятие моей жизни — я снова в одиночестве. Снова мрак — батарейки дорогие. Я прохаживаюсь взад-вперед, но меня с неудержимой силой притягивает к себе кровать. В ней кроется какая-то зловещая тайна. Решившись на все, чтобы ее постичь, я разваливаюсь поверх одеяла.

Что-то слишком много посещений. Надо бы позвонить — вызвать постового. Еще бы один человек скучал. . . А зачем? Неужто квартира с неприбранной кроватью намного уютней комнаты мертвеца?

Пятнадцать человек на сундук мертвеца,

Йо-хо-хо и бутылка рому . . .

Откуда эта лирика? И почему она вдруг всплыла в моей памяти? Не знаю. Должно быть, из букваря. Нет, не буду, пожалуй, звонить. Не такой уж я впечатлительный, что не могу лежать там, где до меня лежала смерть. Сон — это брат смерти, в конечном счете. Тихо . . . Даже часы остановились. Спокойной ночи, дорогие слушатели!

И вот снова наступает утро. Утро чуть светлее вчерашнего. Туман рассеялся. Конец мрачному лондонскому фону, столь подходящему для распутывания историй. Глядя на мокрые деревья, растрепанные вчерашним ветром, я набираю номер дирекции и вызываю своих людей. Они приезжают быстро — настолько быстро, что у меня даже не хватает времени побриться в ванной комнате Маринова и понюхать его французский одеколон. Я трогал заросшее щетиной лицо и, задумчиво осматривая комнату, говорю лейтенанту:

— Надо обыскать. Миллиметр за миллиметром. Раз столько народу продолжает околачиваться вокруг, значит, тут что-то есть... Сначала Баев. Потом Димов. И, наконец, эта, студентка. Как ты думаешь, а?

— Общем. Почему не обыскать. Чтобы не было никаких сомнений.

— Вот именно — чтобы не было сомнений. Даже с риском окончательно запутаться.

— Вы все шутите, товарищ майор.

— Какие уж тут шутки? И чтоб была чистая работа. Понятно?

— Понятно, товарищ майор.

Что все будет сделано чисто, безукоризненно — это мне и так известно. Лейтенант распределяет людей, и вскоре четыре человека начинают по плану, систематически, переворачивать все вверх дном. Шаг за шагом, кресло за креслом, сантиметр за сантиметром. Стены, пол, притолоки дверей, оконные

рамы, люстры, печные отдушины — все будет тщательно простукано и прослушано.

Холмс, этот ревматик, полагал: чтобы найти решающую улику, нужно внезапное озарение, наитие. Оглядываешься, подперев голову рукой, и лихорадочно соображаешь, где, учитывая характер мыслительных процессов, протекавших в голове убийцы, он мог спрятать свою улику? Железная логика, черт побери, должна подсказать правильное решение. А дело куда проще: перерывай сантиметр за сантиметром — птичка сама попадется в сети. Скучновато, конечно, как метод, мелочно и даже бюрократично, но в общем и целом — эффективно.

Сторонний наблюдатель, у которого достанет терпения следить за мной, может, пожалуй, еще подумать, что я хожу от человека к человеку просто так, чтобы потрепать языком. Дабы избежать недоразумения, скажу, что я работаю по плану. В план мой на утро входит, например, посещение неких дам. Но так как упомянутые дамы могли бы истолковать мой внешний вид как проявление неуважения к их персоне со стороны власти, я слегка видоизменяю план и начинаю визиты с инженера. Я застаю его за хлопотами по хозяйству, точнее — за варкой кофе. Этот человек, видать, и впрямь приобретет привычки старой девы. Если уже не приобрел . . . Не удивлюсь, если увижу, как он сидит и гадает на кофейной гуще — письмо ему придет издалека или предстоит дальняя дорога.

— Зходите, — приглашает меня со свойственным ему радушием Славов. — Одну минутку — как бы кофе не сбежал.

Он бросает на меня беглый взгляд и добавляет:

— Вы, видно, с головой ушли в эту историю. Если хотите, можете пока использовать время и побриться. Я просто не выношу, когда у меня отрастает щетина. Бритвенный прибор над умывальником. Чистый.

В том, что он чистый, я не сомневаюсь. Все здесь чисто, в этой квартире. Так чисто, что мухидохнут со скуки — как выразился недавно кто-то.

— Что ж, идея вполне разумная, — буркаю я под нос. — Надеюсь, использование чужой кисточки не будет истолковано, как принятие подкупа?

Присматривая за кофе, Славов пускает в ход знакомую реплику:

— Вы все шутите.

— Я-то шучу, да другие не шутят. Там пытаются подсунуть деньги, тут предлагают поцелуй...

Сняв с себя галстук и пиджак, я тщательно намыливаюсь перед зеркалом. И только тогда Славов замечает:

— Догадываюсь, кто предложил вам поцелуй.

— Ошибаетесь, — отвечаю я, стараясь, чтобы мыло не попало мне в рот. — Это одна старая история. Летом, на дансинге... И к моей профессии не имеет ни малейшего отношения. А вы умеете танцевать?

— Танцую, но скверно, — несколько ошарашенный, отвечает мне инженер.

— Кто вам сказал, что вы плохо танцуете? Жанна?

— А кто же еще? — сопит инженер, аккуратно разливая кофе. — Женщины на таких не вешаются.

— А почему? — спрашиваю я, на секунду прекращая бриться. — Вы не глупы. И не урод. Вообще никаких видимых дефектов...

— Не знаю, почему. И, откровенно говоря, меня это не очень интересует.

Покончив с бритьем, осторожно предлагаю:

— Хотите, я раскрою вам тайну? Только боюсь, что вы обидитесь . . .

— Ничего. Я не из обидчивых.

Сунув голову под холодную струю, я плещусь, и мне кажется, что жизнь начинается для меня сызнова.

— Вы немножко . . . как бы это сказать . . . скучны . . .

— Чувствую, что вы вчера разыскали Жанну, — с горечью замечает Славов.

— Да, я ее разыскал. Но констатация принадлежит не Жанне.

Инженеру не хочется вступать в спор. Он любезно протягивает полотенце и, пока я привожу себя в порядок, моет и кладет на место бритвенный прибор.

— Вы — человек порядка, — отмечаю я. — Просто завидую. Минимальными средствами обеспечиваете себе полное удобство. Только не забывайте, что людей нельзя аккуратно раскладывать по полочкам в целях вашего удобства.

— Не вижу связи, — бормочет инженер.

— Да, а я был почти в восторге от точности выражения. Но ничего, не обращайтесь внимания. Вообще, если что не поймете, не углубляйтесь . . . Кстати, что за тип этот Том?

— Не знаю. Никогда его не встречал и вообще мне неудобно об этом разговаривать.

— Мне тоже неудобно спрашивать иногда, но приходится. Студент или бездельник?

Славов, присев к столу, отпивает глоток. Потом, не поднимая головы, отвечает:

— Был студентом. А сейчас бездельничает. Впрочем, Жанна информирует вас подробнее. Она, по моему, видит его каждый день.

— Что толку, если она его видит? Любовь, говорят, слепа.

— Может, я тоже ослеплен? . . — шепчет инженер.

— Ревностью?!

Выпив свой кофе, Славов долго смотрит в пустую чашку. Не думаю, чтоб он гадал.

— Ну бог с вами, не будем выходить за рамки служебной темы. Хочу только добавить, что гордость тут ни к чему. Пока ты играешь в гордость, те, попроще, приступают к иной игре.

Славов молчит и смотрит перед собой. Потом спохватывается:

— Кофе остынет.

Я, не присаживаясь, пью. Походные нравы в моем обычае. Потом закуриваю сигарету. После глотка крепкого кофе она кажется совсем неплохой. Дабы повысить ее качества, я снова протягиваю руку к кофе.

— С риском второй раз быть обвиненным в подкупе, все же допью, пожалуй.

Славов не отвечает. И вообще не слушает — сделался совсем рассеянным. Может быть, принял близко к сердцу мое замечание о гордости. А может, просто напевает про себя: «Ля донна е мобиле . . .»

Над нами отчетливо слышатся шаги лейтенанта и его людей. Они передвигают что-то тяжелое.

— Слышите? — поднимаю я глаза к потолку.

Славов вздрагивает.

— Что?

— Как хорошо слышно?

— Да. Но какое это имеет значение?

— Сейчас, — признаю я, — никакого. Но шаги, которые вы слышали в тот вечер, безусловно, имеют значение. И те звучали у вас над головой так же отчетливо, как эти. Чьи то были шаги?

— Я сказал уже . . .

— Меня не интересует, что вы сказали . . . — перебиваю я его. — Мне надо знать, о чем вы умолчали. Так чьи же это были шаги?

— Вы толкаете меня на подлость . . .

— Я хочу, чтобы вы сказали правду. «Правду, всю правду и только правду», как когда-то присягали.

Славов некоторое время молчит. Я прихожу ему на помощь. Это ведь человек логического мышления. Значит, надо подлить логики.

— Не забывайте, — говорю я, — что если вы решили кого-то уберечь, то действуете предельно глупо. Не потому, что заботитесь о существе, которое и думать о вас забыло. Это, может, даже благородно. А потому что на моем месте каждый рассуждал бы примерно так: раз этот молодой человек молчит, значит, хочет прикрыть кого-то. Зачем это ему понадобилось? Да потому что этот кто-то, видно, очень дорог ему. Кто же пользуется его симпатиями? Один-единственный человек — Жанна. Итак, конец силлогизма: Славов скрывает, что он слышал шаги, потому что это были шаги Жанны.

— Да, но . . .

— Погодите, — жестом останавливаю его я. —

Силлогизм подтверждается и другим обстоятельством: еще один человек, который тоже должен был бы слышать шаги, молчит. Человек этот — ваша соседка Катя. Жанна для нее — единственное близкое существо. Так что поймите: ваше молчание — красноречивый ответ для меня. Но точный ли, хочу я знать?

Славов молчит: ему, видимо, еще раз нужно взвесить все мои доводы. После чего он, по всей вероятности, будет по-прежнему молчать. Эти педанты — ужасные упрямцы.

За дверью раздаются четкие шаги. Стучат. Входит один из милиционеров.

— Товарищ майор, можно вас на минуточку?

— Сейчас, — отвечаю. — И без того разговор тут что-то не клеится.

Комната Маринова наверху чувствительно изменилась и не к лучшему. Раньше она была просто заставлена. Теперь перевернута вверх дном и до основания обшарена. Зеркальный шкаф, за которым я вчера поджидал с трепетом возлюбленную, выдвинут вперед и прислонен к стене. Одна из его передних подпорок смахивает на лапу льва или какого-то мифологического животного — достаточно громадного, чтобы можно было что-то спрятать внутри. Это «что-то» находится сейчас на столе, к которому меня подводит лейтенант. Если вы ожидали, что я увижу золото или драгоценные камни, должен вас сразу же разочаровать. Речь идет о листках бумаги, исписанных мелким почерком. Я внимательно рассматриваю их, что не мешает мне время от времени деловито поглядывать в окно. Через палисадник последовательно проходят исполненные

трудового энтузиазма инженер, врач, кассир и адвокат. Последние два, хоть и бросают опасливые взгляды на окно, шагают с особенным достоинством.

А в комнате все еще продолжается обыск, хотя, по мне, искать уже нечего: птичка у меня в руках. Или две птички, если хотите. Две птички — две жгучие тайны.

Ну, теперь-то я могу приступить к выполнению своего первоначального плана и нанести дамам утренний визит. Тем более, что я побрился.

Дора не очень мне удивлена. Присутствие мое в доме наверняка не ускользнуло от ее внимания. Особенно если иметь в виду, что в каждой двери есть замочная скважина. Тем не менее женщина старательно изображает удивление.

— Ах, это вы . . .

— Да, я . . .

После этих нежных восклицаний хозяйка приглашает меня в комнату и усаживает в мягкое кресло, а сама устраивается рядышком в другом, застенчиво придерживая полу халата с тем, чтобы тут же, скрестив ноги, обнажить их выше колен.

Дождь, припустивший с новой силой, поливает пологими струями высокое унылое окно. От этого в натопленной комнате становится еще уютней. Особенно если абстрагироваться от шкафа-гиганта, занимающего половину площади.

Дора ласково усмехается, и глаза ее при этом просят о соответствующей любезности. В стремлении избежать соблазна этих глаз и оголившихся колен, я невольно переключаюсь на грудь — такую высокую и открытую, что я тут же спасаюсь бегством в нейтральную полосу прически.

— Еще вчера, увидев вас, я понял, что это не последняя наша встреча, — галантно начинаю я. — Дора, Дора, позвольте мне вас так назвать, вы ужасно очаровательны . . .

Дора довольно улыбается — наконец-то.

— . . . и ужасно лживы.

Изумленно вскинутые брови. Выражение обиды на лице.

— Да, да. Но покончим с этим театром. И опустите занавес.

При этих словах я небрежно киваю на приподнятую полу халата. Дора торопливо опускает ее. И, чтобы не оставить и тени сомнений относительно цели моего визита, добавляю:

— Точно и коротко отвечайте на мои вопросы. А то смотрите — софийскую прописку можно легко заменить другой — вполне возможно, что тоже софийской, но уготованной для лжесвидетелей. Итак: когда вы вышли замуж за Баева?

— Два года тому назад, — пытается овладеть собой Дора. — Не понимаю только, почему необходимы были такие угрозы . . .

— Увидите. Когда точно?

— В конце сентября. Двадцать восьмого или двадцать девятого — что-то в этом роде, по-моему.

— Светлая дата явно не врезалась в вашу память сверкающими буквами. Но все же постарайтесь вспомнить.

— Думаю, что двадцать девятого.

— Хорошо. Мы проверим, правильно ли вы думаете. А эта мебель и все прочее когда появились? Перед свадьбой?

— Да.

— Приданое мужа?

Дора утвердительно кивает.

— А на какие средства он все это купил?

— Возможно, у него были сбережения, — пожимает плечами женщина.

— Слушайте. То, что я вам только что сказал, это не дружеская шутка. У вас могут выйти большие неприятности, если вы меня не так поняли . . .

— Кажется, Маринов дал ему денег, — поколебавшись, отвечает Дора.

Она выглядит совсем расстроенной.

— Маринов дал ему денег, верно, но это произошло позже. А мы говорим сейчас о свадьбе. На что вы купили мебель и все прочее?

— Я ничего не покупала. И перестаньте впутывать меня во все эти истории. Все, что здесь есть, купил перед свадьбой он.

— На какие деньги?

— Взял из кассы, если вы так настаиваете. А потом занял у Маринова и восстановил сумму.

— Второе: когда вы вступили в связь с Мариновым?

Выражение обиды на лице на этот раз совершенно неподдельное.

— Это уж чересчур, инспектор . . . Вы слишком далеко заходите.

— Что ж, пойду еще дальше и скажу, что речь идет, возможно, об убийстве, что в этом убийстве замешана женщина и ваши уловки вряд ли могут сойти за проявление девичьей стыдливости. Когда вы вступили в связь с Мариновым? Не заставляйте меня повторять!

Женщина опускает голову. Обида уступает место усталости.

— Через несколько месяцев после свадьбы.

— Точнее.

— На четвертый месяц.

— То-есть, вскоре после того, как Маринов дал деньги вашему мужу?

— Да.

— А когда Баев это понял? Каким образом он об этом узнал? Как реагировал? Да говорите же! Не из-за ножек же я к вам пришел . . .

— Понял, мне кажется, очень скоро, хоть и закрывал на это глаза. Но однажды вернулся раньше обычного и застал нас . . . Начался скандал . . . Баев угрожал . . . Маринов тоже . . . «Будешь, мол, болтать, посажу. Думаешь, я уничтожил твои расписки? И как деньги из кассы брал — все скажу. Не попрिдержишь язык — заживо в тюрьме сгною». Долго ругались, и наконец Баев сдался.

— А вы?

Дора поднимает на меня измученные глаза.

— Я? . . . Уж не думаете вы, что так приятно жить с этим типом? Противным, старым. И глупым вдобавок.

— Это вы о ком? О Баеве или о Маринове?

— О Баеве. Хоть и другой тоже был не такое уж сокровище. Но по крайней мере вел себя галантно . . . По настроению, конечно . . . Голову закружил мне обещаниями. И материально, мол, обеспечит . . . И свободу предоставит . . . А тот дрожал над каждым грошом. Из-за лева устраивал сцены. И какая скотина, господи . . . Хорошенькое счастье жить с таким типом! Хотя, в сущности, со второго месяца

я перестала с ним жить как жена. Он превратил мою жизнь в ад, и Маринов явился для меня спасением — Баев хоть и показывал свои когти, но все же ужасно боялся Маринова. Господи, какой ад с этими двумя . . .

— А кто вас гнал силком в этот ад?

— Никто . . . Сама во всем виновата. Когда нет близкого человека . . .

— А родители?

Дора презрительно кривит губы.

— Если б не родители, я бы, может, не попала в этот переплет. Отец поучал меня одними пощечинами . . .

И женщина рассказывает о себе, о семье, об упорных перспективах, которые ей сулили дома: кухня, швабра и вполне солидный, хоть и чуточку перезревший супруг. Я смотрю на нее — жалкую, униженную, начисто позабывшую о заученных позах — и думаю про себя: «Прорвало. Поди попробуй теперь остановить. Не замолкнет, пока не выложит все до самой мельчайшей подробности».

Вечная история: ищешь убийцу, а наталкиваешься на ворох грязного белья. И занимаешься, помимо главного, целой кучей побочных дел . . . Только бы не расплакалась . . .

Именно в этот самый момент Дора начинает плакать. Сначала, закрыв лицо руками, тихонько всхлипывает, но я совершаю фатальную ошибку: встаю и успокаивающе похлопываю ее по спине, забыв, что сочувствие лишь усиливает реакцию. Всхлипывания переходят в бурные рыдания, и я не знаю, что предпринять — не могу я равнодушно

переносить чужого плача. Разве что заплачет сам старик Аденауэр.

— Ну, будет, будет, — похлопываю я ее по плечу. — Некрасиво, когда человек плачет от жалости к себе. А вы жалеете себя. Правда, у вас есть для этого основания. Но не забывайте, что вина ваша, несмотря на смягчающие обстоятельства . . . Так на какие же это курсы вы собирались поступить?

— На курсы медицинских сестер, — всхлипывает Дора. — Доктор Колев мне предлагал . . . Но я, дура, отказалась . . .

— И зря. Идея совсем не плохая. Куда лучше этой во всяком случае, — киваю я на фотографию Баева. — Но . . . дело ваше.

Дора вытирает платочком глаза.

— Доктор был очень добр ко мне. А я, дура, упрямилась.

— Ничего — на ошибках учатся. Вернетесь к доброму человеку . . .

— Вы неправильно меня поняли. Колев — не для таких, как я. У него есть невеста . . .

— Ах, да. Биология. Серьезная наука. Но санитария тоже ничего. Впрочем, это ваше дело.

Я, взмахнув рукой, ухожу. У меня такое ощущение, что Дора достаточно потрясена событиями и не нуждается в дальнейших советах. Посмотрим, что делается с другой.

Спускаюсь в подвал и тут же опрометью вылетаю оттуда наверх, спасаясь от словесного водопада, которым собиралась меня окатить тетя Катя, сообщившая, что Жанны, к сожалению, нет дома. После того, что я выслушал у Баевых, это и впрямь было бы чересчур.

Интересующего меня лица не оказывается и в «Варшаве». Зачеркнув мысленно один пункт в разработанном мною плане, иду к Баеву в сберкасса. По пути забегаю в дирекцию — бросить взгляд на собранные сведения, касающиеся некоторых действующих лиц этой запутанной истории.

В кассу поспеваю как раз вовремя — я хочу сказать, за минуту до закрытия. Как и вчера, замешкавшиеся служащие торопятся на обед. Как и вчера, Баев задержался — раскладывает пачки денег и квитанции. Я с непринужденностью старого знакомого опираюсь о перегородку. Баев сразу же отрывается от дел.

— Знаю, знаю, — поднимаю я руку. — Касса закрыта. И зарплату не даем. Сегодня мы даем показания. Итак — лживое алиби. Злоупотребление государственными средствами. Расписка на крупную сумму в кармане Маринова. Ревность к тому же Маринову. Угрозы по адресу упомянутого Маринова, сформулированные в присутствии третьего лица. Страх перед Мариновым. Желание уничтожить причину страха. В таких случаях обыкновенно спрашивают: «Где вы зарыли труп?» Я однако удовольствуюсь пока более невинным вопросом: откуда вы взяли яд?

— Вы . . . вы шутите . . . — шепчет Баев пересохшими от волнения губами.

— А чего же вы не смеетесь? Нет, мне не до шуточек, дорогой. Пришло время улик.

Широким, несколько театральным жестом, может быть, и не свидетельствующим о тонком вкусе, вытаскиваю из кармана расписку и сую ее под нос кассиру.

— Это улика номер один. Улика номер два — показания вашей жены. Улика номер три — ваши собственные показания, которых я с нетерпением жду.

Баев мрачно смотрит на расписку — я чувствую, что он борется с желанием выхватить ее у меня из рук и порвать. Наконец, он овладевает собой и буркает:

— Не знаю, что сказала вам эта мерзавка. Я не имею ничего общего со смертью Маринова. Ничего!

— Ну, вот, мерзавка! С каких это пор женщина вашей мечты стала мерзавкой. И вообще — можете вы мне сказать, где вы находились в ночь убийства, учитывая, что полчаса назад я установил лживость вашего алиби.

— У своей первой жены . . .

— Первая жена . . . И вторая ложь . . . А почему вы не сказали мне сразу, если были у первой жены?

— Неудобно, сами понимаете . . .

— Какая чувствительность! А лгать вам не было неудобно . . . Что вам понадобилось от первой жены? Надежное алиби?

— Ничего мне от нее не надо. Я часто туда хожу. Там для меня настоящий дом с тех пор, как эта мерзавка . . . сами понимаете . . . И после всего, что я сделал для нее . . . Из грязи вытащил . . . Влез в долги . . . Рисковал своим честным именем . . .

И этого прорвало. Поди останови. И новый ворох грязного белья вырастает передо мной. Или, может, того же самого, но рассматриваемого с другой позиции — с позиции уязвленного рогоносца . . . Уйма живописных подробностей. Кроме одной, существенной.

Я рассеянно слушаю и опять улавливаю слово «ад».

— Погодите! — говорю я ему. — Голова пухнет от всего. Раз ад, почему же вы не поставили точку?

— Разве это зависело от меня? В этом доме рашающее слово принадлежало одному Маринову . . . Он терроризировал нас всех.

— А кто ж из вас сумел поставить точку?

— Не знаю. Только не я.

— Допустим, что не вы. Но тогда кто же?

— Не знаю. Во всяком случае не я. А за Димова не могу ручаться.

*

Шагая по улице под моросящим дождем, я с тоской представляю себе, как моя порция баранины покрывается слоем жира. Потом примиряюсь и начинаю смотреть на вещи философски. Во-первых, горячая пища вредна, во-вторых, я уже так отвык от нее, что случись мне ее попробовать, я, наверно, с отвращением отвернусь. Поэтому железо должно быть горячим, если хочешь его ковать. Эта мысль придает мне бодрости, и я ускоряю шаг.

Димова я застаю одного в конторе. Это уже плюс. Ни от чего так не простужаешься, как от допросов под открытым небом. Вспотеешь, прохватит тебя сквозняком — и вот тебе озноб, бред . . .

— Хочу вас обрадовать, — приветствую я Димова, который едва кивает в ответ. — Мы нашли то, что вы искали!

При этом я весело размахиваю письмами и доносами, найденными в тайнике, устроенном в мифо-

логической ноге. Димов почему-то не бросается мне на шею — он становится еще мрачней.

— Вы что, не рады? — продолжаю я. — Что ж, такова жизнь. Хочешь доставить человеку радость, а вместо этого . . . Ну, хоть развлеку вас новостью, что ваше алиби оказалось фальшивым, господин тайный агент!

— Я не был тайным агентом, — почти апатично произносит Димов.

— А доносы? Вы, наверно, припоминаете, что, кроме ваших любовных писем, там были и доносы.

Для пущей наглядности я снова помахиваю документами.

— Вы сами знаете их содержание, — мертвым голосом отвечает Димов. — Мелкие, совсем пустяковые сведения, которые давал полиции не только я и которые сам Маринов заставлял меня собирать о клиентах.

— Почему же вы так боялись, что мы обнаружим эти пустяки?

— Из страха потерять адвокатское место.

— Что же, мотив серьезный . . .

— Но, согласитесь, недостаточный для того, чтобы совершить убийство. . . . В сущности, я впервые испугался, что документы эти найдут, только после смерти Маринова. Пока же этот подлец был жив, я вообще не думал об этом. Просто понимал, что ему самому было выгодно как можно дольше шантажировать меня.

— А что он требовал, шантажируя?

Подперев голову рукой, Димов уставился неподвижным взглядом в исцарапанную, забрызганную чернилами крышку письменного стола.

— Самых разных услуг. Командовал мною, будто я был у него на побегушках. Гонял по таможням... Заставлял продавать заграничные вещи... Требовал, чтоб я его знакомил с девушками... пока не отправился ко всем чертям.

— Ну, ну, полегче — все-таки покойник. Давайте переменим тему. Итак, в тот вечер, когда ваш приятель отправился, как вы выразились, ко всем чертям, вы находились не в Ямболе, а в Софии. А если точнее?

— Дома.

— А почему вы солгали . . . простите, отклонились от истины?

— Чтобы избежать тех самых допросов, которым вы меня подвергаете.

— Легкомысленно. Судьбы все равно не избежать. Но хватит избитых афоризмов! Что именно вы делали дома? Пили коньяк с Мариновым?

— Никакого коньяка я не пил.

— Значит, он пил, а вы наливали?

— Не был я у Маринова, я вам уже сказал. У Маринова была женщина.

— Женщина? Это слишком общо.

— Я не могу точно утверждать, но когда я возвращался домой, мне показалось, что я слышу голос этой маленькой дурочки — Жанны.

*

Жанна. Временно зачеркнутый пункт разработанного мною плана. Пора снова возвратиться к нему — больше нельзя откладывать. Я начисто выбрасываю из головы всякие воспоминания о баранине и опять отправляюсь в путь. Шагаю по улице под

дождем — и мысли шагают со мною рядом. Кое-какие версии отпадают, кое-какие проясняются. В голове становится просторней. Я раздумываю над последней возможностью: выпить чашку кофе в «Кознице». Заглядываю внутрь через стекло. Очередь перед автоматом небольшая. Времени, видимо, потеряю немного. Это окончательно решает вопрос.

Кофе обжигает, а горячая пища, я говорил уже, не в моих привычках. Дожидаясь, пока он остынет, я от нечего делать рассматриваю пару за соседним столиком. Появись эти двое в «Варшаве», они шокировали бы общество. Грубые свитеры, туфли за 15 левов. Диагональные брюки. Бумажная юбчонка. И это в декабре! Что совершенно не мешает им чувствовать себя прекрасно. Парень близко склонился к девушке. Она безотрывно смотрит в его глаза. Каких-нибудь два пальца расстояния отделяют их от поцелуя — и от штрафа за непристойное поведение в общественных местах.

Это напоминает мне другую историю, случившуюся с двумя другими на морском берегу, под корявым миндальным деревом.

Смена ее кончалась. На другой день ей предстояло уезжать. В совместных прогулках, в разговорах о всякой всячине время пролетело незаметно. У меня была последняя возможность затронуть некоторые конкретные темы и особенно одну из них.

Я для храбрости закурил и приготовил мысленно фразу, но вместо этого произнес:

— Итак, завтра?

— Завтра . . .

Ночь была светлой. Круглая луна самого что ни

на есть банального типа вставала над морем и серебрила его — точь-в-точь, как на почтовых открытках эпохи моего начального образования. Лицо девушки было смутно-белым, что отнюдь не портило его, а губы едва заметно улыбались. Мне показалось, что она смеется над моей непредприимчивостью. Поэтому я наконец решился преподнести ей небольшой урок.

— Может, женимся? Ты и я. Что ты на это скажешь?

Она засмеялась, но не вслух, а одними губами. И ничего не ответила.

— Если тебе нужно обдумать ответ, лучше не стоит. Не имеет смысла.

На этот раз она громко расхохоталась, но опять ничего не сказала.

— Не вижу абсолютно ничего смешного, — мрачно заметил я.

Тогда она наконец промолвила:

— Я все думала, скажешь ли ты мне это и если скажешь, то в какой форме. И решила, что именно так. Как будто речь идет о пустяке: «Может, выпьем бутылку пива?»

— Ладно, допустим, что ты страшно проницательна. Но ты так и не ответила на мой вопрос.

— И не собираюсь, — засмеялась она.

— Правильно. Не надо. Не имеет смысла.

Все было ясно и без слов. Склонившись ко мне, она неожиданно положила мне руку на плечо. Я попытался было высвободиться — очень нужны мне чьи-то утешения, но рука ее еще крепче обняла меня, и все смешалось: я почувствовал, как ее губы прикоснулись к моим.

— Ты мальчишка. Большой мальчишка, — сказала она потом.

— Хорошенький мальчишка — сорок лет.

— Это ничего не значит. Зрелые люди не принимают серьезных решений после пяти прогулок у моря . . .

— Их было не пять, а восемь.

Девушка снова улыбнулась.

— Знаю. Но это ничего не меняет.

Позже, возвращаясь в свой дом отдыха, она как настоящая учительница постаралась мне растолковать, что представляю собою я, словно для меня это было нечто совершенно незнакомое. При этом она внушала мне, что я не имею понятия и о ней, что, возможно, я многое придумал и принимаю необычное решение только потому, что на двадцать дней попал в непривычную обстановку . . . Или потому что вообразил, будто она ждет от меня этих слов, и не захотел ее разочаровывать . . . Или потому, что внезапно почувствовал, как я одинок . . .

— Но потом ты вернешься домой, начнешь работать и, может быть, подумаешь: «К чему все это было нужно?» А я не хочу, чтобы ты думал, будто я и море подвели тебя . . .

— Вовсе не собираюсь ничего такого думать. Все это чистейший вздор.

Обратный путь показался нам слишком коротким. Вот и ее дом отдыха — нам пора расставаться. Но из ресторана доносится мелодия, знакомая нам обоим, и девушка говорит:

— Пойдем потанцуем. Ведь последний вечер.

— Именно поэтому мне не хочется его портить.

— Тогда просто посидим . . .

Юноша и девушка за соседним столиком, нагля-

девшись друг на друга, встают. Кофе мой давно остыл. Наспех проглотив его, я возвращаюсь к мелким заботам сегодняшнего дня и, в частности, к невыполненному пункту моего плана. Выйдя, нахлобучиваю шляпу на лоб — чтобы поскорей сосредоточиться — и направляюсь к ковчегу мертвеца.

Из всех обитателей ковчеха налицо одна тетя Катя.

— Все еще нету, товарищ начальник . . . И обедать не приходила . . .

— А вообще она приходит когда-нибудь домой?

Катя пожимает костлявыми плечами и сочувственно смотрит на меня.

— Все они, нынешние, такие . . . Калачом домой не заманишь. Ветер в голове — и только. Вот мы, бывало . . .

— Да, да, мне известно ваше мнение по этому вопросу, — спешу я остановить водопад. — А почему вы скрыли от меня, что Жанна в тот вечер была у Маринова?

— Жанна?! У Маринова?! Кто вам сказал?

Я доверительно шепчу ей на ухо:

— Ваша приятельница Мара! Ужасная болтушка, знаете . . .

*

До конца рабочего дня остается еще два часа. Я решаю зайти в дирекцию — может, готовы уже некоторые справки. В кабинете, как и следовало ожидать, ни души. Бросив шляпу на письменный стол, я закурываю сигарету и подвигаю к себе те-

лефон. Но не успеваю я набрать номер, как меня вызывают к начальнику.

— Ну, что нового? — спрашивает начальник и, как всегда, показывает мне кресло перед самым письменным столом.

— Новости есть . . . Подвигаемся вперед . . . По крайней мере в оценке версий . . . Некоторые отпадают.

— И то хлеб, — улыбается начальник. — Когда количество подозрений уменьшается, решение задачи упрощается.

«Порой настолько, что пропадает охота ее решать» — отвечаю я, но про себя, потому что в служебном разговоре неуместны подобные рассуждения.

Вкратце излагаю новости. Начальник внимательно, с интересом слушает и так же внимательно смотрит на меня своими спокойными светлыми глазами. Потом, по своему обыкновению, встает и, сделав несколько шагов по комнате, опирается о подоконник.

— Да. Ты, по-моему, прав. Улики ведут в одном направлении. Время покажет, верном или нет, но пока все клонится к этому. Хотя, повторяю: не увлекайся. Действуй без предвзятости.

— Нет у меня никакой предвзятости. Даже, откровенно говоря, я иногда задаю себе вопрос: стоит ли из-за смерти такого законченного негодяя, как Маринов, к тому же больного раком, обреченного...

Начальник против обыкновения не дает мне договорить, словно боясь, что я вот-вот ляпну нечто совершенно неуместное. Голос его сух, официален.

— Стоит, нечего и спрашивать. Стоит, хотя и не из-за этого негодяя, а из-за принципа, который тебе доверен и который ты носишь в себе.

Разговор, надо полагать, окончен. Я порываюсь встать. Полковник жестом усаживает меня обратно. Светлые глаза устремлены на меня.

— Кури. . .

Я закуриваю.

Светлые глаза продолжают изучать меня.

— Ты что-то выглядишь усталым.

— Пустяки! Через мои руки проходили куда более сложные расследования.

— Дело не в сложности, а в отношении.

Начальник опирается о подоконник. Взгляд его светлых глаз меняется. Сейчас он снова неофициальный.

— Вчера мне хотелось тебя предостеречь от лишней мнительности. А сегодня ты ударился в другую крайность. . . Мнительность и мягкотелость в нашем деле одинаково вредны.

— Я не ребенок, — отвечаю я нервно.

Видно, я и впрямь устал.

Полковник ласково улыбается.

— А я и не считаю тебя ребенком. Мы с тобой просто разговариваем. Бывают моменты — ты их испытал, — когда нам хочется поступать так, как нам подсказывает вкус, наша субъективная оценка. Только мы с тобой, брат, не судьи. А если мы начнем вершить правосудие по собственному усмотрению и желанию вместо того, чтобы вести расследование, не знаю, до чего мы докатимся. . .

Я, наклонив голову, крЮ. Все это известно мне не хуже, чем полковнику, хотя у меня на две звездочки меньше. Он угадывает мое настроение.

— Ты, небось, думаешь: и чего это начальнику взбрело в голову читать мне вслух букварь. Но одно

дело знать, а другое в точности соблюдать. Ты просто чуть-чуть устал.

Возвратившись в наш кабинет, я берусь за телефонную трубку и рассеянно смотрю на нее. Устал? Может, и устал. Этот принцип — ведь он порой оказывается довольно увесистым. Порой тебе хочется бросить его, поставить в угол и порасправить плечи... Особенно если молоденькая девушка прижимается к тебе под зонтом, а ты в благодарность делаешь все возможное, чтобы упечь ее на долгие годы. . . Живая девушка. . . И мертвый подлец. . . Ну, что же, решай, инспектор.

Я, наконец, вспоминаю о трубке. Да, ведь я собирался куда-то звонить. Задумчиво набираю номер.

— Как насчет сведений о цианистом калии? . . Так что же вы, дожидаетесь письменного распоряжения? . . Немедленно, разумеется!

Я зажигаю электричество и произношу свой привычный монолог по поводу похоронно-желтого света. Потом подхожу к окну. Улица тонет в вечерних сумерках. Рассматривать, по сути, нечего. Мост, деревья, угловые здания, фигурки людей, идущих по тротуару — все это мне давно известно. Пейзаж без экзотики, особенно сейчас, в синеватой вечерней мгле. И все же несмотря на декабрьскую сырость, есть в нем что-то теплое и мирное. Стайка детей возвращается из школы. . . Маленькая девочка несет хлеб и, оглянувшись, отламывает горбушку. . . Несколько человек в ожидании трамвая беззаботно болтают на остановке. . . Женщины останавливаются у витрин. . . Это не твой мир. Твой другой — со вскрытиями и запахом карболки, ножами и вероналом, мертвыми телами и вещественными доказательствами,

пятнами крови, отпечатками пальцев. . . Где уж тебе заниматься, дорогой, всякими личными историями...

Звонок. Я выбрасываю из головы всякие внеслужбные мысли и хватаю телефонную трубку.

— Да, я. . . Вот именно — отпечатками пальцев... Значит, вы уверены, что это ее. . . Нет, не к спеху. Когда будут готовы. . .

Кончив разговор, я присаживаюсь на краешек стола и закурываю сигарету. Такие-то дела, моя милая девочка. . . Не знаю, понимаешь ли ты меня. . .

Затем я снова снимаю трубку и набираю номер.

— Привет, старик. . . Ну, конечно, не дед Мороз... Ясно, вскрытием, а не твоим самочувствием. . . Ничего окончательного? М-да. . . А когда же будет окончательное? Ну, и работнички же вы. . .

Только я собираюсь уточнить, что за работники эти черепахи, как в кабинет входит старшина.

— А, наконец-то!

Козырнув, старшина пересекает комнату и кладет передо мной на стол какие-то бумаги. Это сведения о лицах, которым был отпущен за последний год цинистый калий. Приведенная в действие машина крутится плавно и неумолимо. Не нужен ни тебе Шерлок Холмс, ни гениальные догадки. . .

Взяв бумаги, я торопливо пробегаю глазами список. Потом уже более внимательно прочитываю его с начала до конца. Ничего! Да, моя милая девочка... Не знаю, понимаешь ли ты меня. . .

— Слушай! — говорю я старшине. — Этого недостаточно. Пусть приготовят точные выписки за последние три года. В срочном порядке. Завтра утром чтобы были тут, на столе.

Рабочий день подходит к концу. По крайней мере для таких, как Паганини вскрытий. А мой продолжается. Хоть и под открытым небом. Вот и ковчег мертвеца.

Подвал. Комната тети Кати. От коврика с породистым желтым львом и ядовито-зелеными огурцами разит непроходимой экзотикой. Взгляд мой однако устремляется к банальной плюшевой занавеске в углу. Женщина-водопад, перехватив мой взгляд, отрицательно качает головой.

— Мне даже совестно смотреть, сколько она вам создает хлопот, — горестно вздыхает тетя Катя. — Нет, все еще не являлась. . .

Затем «Варшава». Высшее общество. Оживление. Но Жанны нет.

Потом «Берлин» и несколько заведений неподалеку от него. И снова «Варшава». На этот раз счастье мне улыбается, хоть и полуулыбкой: я не нахожу невесты, но вижу жениха.

Он сидит в баре, внизу. Погруженный в размышления. Перед ним рюмка коньяка. Я сажусь рядом, стараясь, по возможности, не досаждать ему своим присутствием. Официантка вопросительно смотрит на меня.

— Сто грамм коньяку, — заказываю я. — Со вчерашнего дня остался. Из-за всяких невоспитанных типов не можешь спокойно выпить коньяк.

Официантка, не обращая внимания на мою невразумительную болтовню, ставит передо мной рюмку. В эру атома уже никого не потрясешь неврастенией.

Отпив глоток, я вспоминаю, что давно уже не курил. Затянувшись и выпустив дым, я скашиваю гла-

за на зеркало — стены бара облицованы зеркалами — и встречаю взгляд жениха. Он поспешно отводит глаза, но, почувствовав, что это неучтиво, цедит сквозь зубы какое-то приветствие.

— А, студент! — откликаюсь я. — Один? Вот и хорошо! Люблю, знаешь, мужскую компанию. От женщин никакого толка. Если они, конечно, не добывают черwonцы. . . Жанна как? Что-нибудь принесла?

— Не понимаю, — лепечет Том.

— Учитесь в вузе, а не понимаете. Где вы, кстати, учитесь, и если не секрет?

— На юридическом.

— Изучаете кулачное право или что?

Ответа не следует.

— А где вы учитесь? В Оксфорде или Кембридже? Потому что в Софийском университете вы не числитесь среди студентов. Но это уже мелочи. Пустяки. Так как, вы говорите, обстоит дело с пиастрами?

— Не понимаю, — упорствует Том.

— С пиастрами, я говорю. С черwonцами. С финансами этого чурбана Маринова. Сколько раз вы заимствовали у него?

Я напрягаю слух. Напрасно.

— Если вам неудобно говорить, можете просто показать на пальцах. Язык глухонемых мне как родной. Три раза? Пять? — настаиваю я.

Ответа все нет и нет.

— Что ж, придется разыскать Жанну. С женщинами мне положительно легче говорить. Хотя я, по сути дела, не бабник. Так куда она задевалась, этот ваш маленький частный банк?

— Если вы спрашиваете о Жанне, то я не знаю, — размыкает, наконец, губы Том.

— Ничего. Как-нибудь выясним. . . Речь шла, по существу, о вас. Вы куда метите, в тюрьму? В исправительную колонию? Тогда дерзайте. Цель близка.

Вслед за этим бодрым призывом я допиваю остатки коньяка и, расплатившись, направляюсь к выходу. На лестнице я на секунду останавливаюсь, словно для того, чтобы поправить галстук, и успеваю заметить, как Том бросается к автомату в глубине зала. Счастливцев. Он знает номер, неизвестный даже мне. Зато я знаю другие вещи. Значит нет оснований полагать, что мы играем не на равных.

Дождь снова начинает накрапывать, и я захожу в подъезд — тот самый, где мне вчера пришлось играть роль укротителя. Спустя немного времени в поле моего зрения появляется фигура жениха. Он куда-то торопится. Я даю ему фору 100 м, как принято делать с новичками, и направляюсь вслед за ним. Путешествие в неизвестное. Очередной рейс.

Неизвестное, в сущности, не так уж неизвестно, как это кажется на первый взгляд. Куда еще приведет вас бездельник, дорогой Холмс, как не в притон безделья?

Не знаю, что думает об этом Холмс, но именно так и получается. После блуждания по разным улочкам, названия которых незачем перечислять, Том сворачивает во двор одного из тех бесцветных зданий, которые отличаются друг от друга лишь номерами. Пора, пожалуй, сократить расстояние. Я ускоряю шаг. Но когда я вхожу в подъезд, лампа-автомат внезапно гаснет, и я теряю след жениха. Поднимаясь вверх по лестнице, я останавливаюсь на каждой

площадке и размышляю, на каком из 36 приемлемых методов поимки противника разумнее всего остановиться. На четвертом этаже становится ясно: слуховой метод лучше всех. Из-за двери слева доносится такой невообразимый шум и гам, что и без специальной подготовки можно понять, что там происходит собрание родственных жениху существ. Я фамильярно и продолжительно звоню. Молодой человек с модной прической, сиречь со свободно взлохмаченной шевелюрой, гостеприимным жестом открывает дверь.

— Я приятель Тома.

— Великолепно! — кричит лохматый с пьяным энтузиазмом. — Том только-только пришел. . . А я именинник. Заходите!

После сердечного рукопожатия меня без церемоний вводят в дом.

Все двери в квартире, в том числе и кухонная, настежь распахнуты — для простора действий. Но число званных и незванных гостей так катастрофически возросло, что никакого простора не получается. Картина напоминает поперечный разрез какого-то склада пьяных. На стульях и кушетках — груды людей обоего пола, как попало повалившихся друг на друга. На полу, прислонясь к стене, с рюмками и бутылками в руках, тоже сидят гости. В узких проходах, не занятых сидящими, теснятся танцующие пары, жестоко ударяясь об одушевленный и неодушевленный реквизит окружающей среды.

В комнатах так кошмарно накурено, что дым собственной сигареты показался бы мне, наверное, струей чистого воздуха. Я оглядываюсь в поисках Тома — и открываю Жанну. Она танцует в густой толпе с каким-то двойником именинника — во всяком

случае по части шевелюры. В этот момент к ней подходит Том. Специалист по кулачному праву, как и следовало ожидать, бесцеремонно вырывает невесту из объятий лохматого самозванца и сам закручивает ее в стремительном вихре танца. Но танцуют они без огня — просто топчутся на одном месте. У Жанны — насколько мне позволяет разглядеть плотная дымовая завеса — усталое и озабоченное лицо. Том настойчиво шепчет ей на ухо. Должно быть, что-нибудь в этом духе:

«Инспектор, гад, пронюхал про нас и хочет втравить в историю. Ищет тебя днем с огнем. Если он станет приставать с расспросами, отрицай все как есть — и баста. Пусть попробует доказать! Только этот чурбан был в курсе, да его ведь из гроба не подымут. . .»

Том все шепчет что-то на ухо Жанне, а та кивает примиренно. Пора, решаю я, положить конец этому завидному единодушию. Маневрируя наподобие ледокола, я пробираюсь сквозь толпу и останавливаюсь невдалеке от пары. Жанна первая замечает меня и, вздрогнув, поворачивается в мою сторону. Том прослеживает за ее взглядом.

— Послушайте, — говорю я, — юноша, соблюдайте правила. Не нарушайте ритм. Эта чача, например...

— Это рокк, — машинально поправляет Том, словно это имеет решающее значение.

— Именно, рокк, — киваю я. — А вы думаете, что это чача. Последите-ка за моим шагом.

Сделав несколько показательных и совершенно произвольных движений, я приближаюсь к паре и выхватываю Жанну из объятий разинувшего рот жениха. Дабы не тратить понапрасну энергии, я за-

кручиваю девушку вокруг себя, а сам едва переступаю на месте.

— И главное, — добавляю, — предоставляйте действовать даме. В чем-в чем, а в этом у вас опыт есть.

И увлекаю Жанну в толпу, подальше от ревнивого взгляда любимого.

— Я велел тебе быть налицо? — говорю я, машинально топчась на месте.

— Как видите, я не перешла турецкой границы, — хмурится Жанна, так же машинально покачиваясь в ритме танца.

— Но переходишь границы моего терпения.

— Жестокый вы человек, — плаксиво произносит она и добавляет без всякой связи:

— Вы не читали Хемингуэя. . .

— Нет. Не читал.

Страдальческим голосом, словно стараясь выиграть время, Жанна продолжает:

— У Хемингуэя есть рассказ об одиноком старом человеке, который часами просиживает в барах, потому что ему не к кому пойти, а ему хочется, чтобы вокруг было чисто и светло. . . Рассказ так и называется «Чисто и светло». Но вы не читали Хемингуэя...

— А ты не читала учебника по криминалистике. И оставила на рюмке отпечатки пальцев. Вообще понаделала уйму глупостей. И, наконец, яд. . .

— Яд? — в ужасе отшатывается Жанна. — Я его не травила. . .

— Ну, ладно, хватит голословных деклараций. Рассказывай, что было в тот вечер и вообще что было между тобой и Мариновым.

Жанна растерянно оглядывается, словно рассчитывая на помощь окружающих. Но окружающие,

прижатые друг к другу, покачиваются в гвалте и дыму, и даже моя экстравагантная манера танцевать не в состоянии привлечь их внимания. Но вот девушка замечает Тома. Стоя у двери, он с мрачным лицом следит за нашими движениями. Прочтя в глазах девушки призыв, Том было направляется в нашу сторону, но я предостерегающе поднимаю руку. Лев поджимает хвост.

— Я сказал тебе: и мое терпение имеет границы. Не оглядывайся. Жених твой покуда вне игры. Сейчас танцуешь ты. Ну!

— Поверьте, ничего между нами не было. . . Как вы вообще можете допускать. . . Он был такой противный. . . Но Том заставлял меня водить его за нос. Понимаете, из-за денег. . . Тому нужны были деньги, и он заставлял меня брать у него. . . Два раза я посылала Маринова за конфетами или за коньяком — и брала. . . Я думала — он ничего не замечает. . . У него было много денег, а я брала понемножку. . .

Рассказывая, Жанна все норовит взглянуть на Тома, но в глазах ее уже страх, а не призыв о помощи. Однако Том куда-то улизнул или просто переменил позицию — я его в толпе не вижу.

— И вот однажды. . . в тот самый день. . . он позвал меня вечером к себе и сказал, что ему все известно. . . что я — воровка. . . что он сообщит в милицию, если я не перестану упрямиться, что у него серьезные намерения, что он мне купит меховое пальто, что будет носить меня на руках и так далее. . . Что я или останусь у него, или прямо уйду в милицию. . . Но я приготовилась к этому заранее — плеснула ему в рюмку из пузырька, чтобы он скорей заснул. . .

Жанна молчит, словно до нее лишь сейчас доходит весь смысл ее поступка.

— И он заснул. И надолго заснул. А кто вам дал цианистый калий?

— Цианистый калий?! — Жанна меняется в лице. — Что вы! Это было снотворное. Том сказал, что снотворное. . .

— Том все может сказать. . . На суде никто не станет интересоваться, что именно сказал Том.

— Том сказал, что это снотворное, — повторяет настойчиво Жанна. — Честное слово, я думала, что снотворное. И налила ему немного в рюмку. . . Маринов отпил чуть-чуть, но не заснул. Сначала бубнил то о шелке, то о мехах, то о милиции. . . Потом вдруг скорчился, покрылся потом, побледнел и замолчал. . . И сказал, что ему очень плохо.

— Надо же! Его угощают цианистым калием, а он жалуется. . . И что потом?

— Потом он встал и велел мне уходить. . . И выводил через зимний сад. Он всегда, когда у него бывали гости, выводил их через зимний сад, чтобы соседи не видали. . .

— А где пузырек?

— В саду. . . В кустах. . . Я выбросила потом.

— Ох, уж эти женщины! — вздыхаю я. — Выберут самое потайное место!

Магнитофон замолкает, наконец.

— Уф, никогда еще не танцевал так долго. . . и так хорошо, — вытираю я пот.

Подхватив под руку Жанну, я пробиваюсь к выходу.

— Куда? — хватается меня за рукав лохматый име-

нинник, который встречает новую партию гостей. — Веселье только начинается.

— Схожу за цветами, — отвечаю я. — Неудобно. . . С пустыми руками. . .

— Брось цветы. . . Тут полно цъетов. И все в нейлоновых чулках. Принеси-ка лучше коньяк. А то весь вылакали, черти.

— Будет и коньяк, — щедро обещаю я. — Веселье только начинается.

Таща за собой Жанну, я стремглав скатываюсь вниз по лестнице.

Напрасная спешка. Том внизу — дежурит у подъезда. Мы транзитом минуем мимо его неприкаянной фигуры. Жанна поворачивает голову — хочет взглядом что-то сказать ему на прощанье, но я вовремя дергаю ее за руку.

На улицах ни души. Только ветер и дождь. Мы с Жанной шагаем по мокрому тротуарам, всматриваясь в свои тени. Тени постепенно становятся длинней. Затем все короче и короче, пока не исчезают за спиной. А потом снова выскакивают и опять начинают расти. Шаги глухо отдаются во мраке. И не поворачивая головы, я чувствую, что Том тащится за нами следом. Остановившись на углу, круто поворачиваюсь кругом.

— Слушай, детка! Ты что — решил перенять у меня ремесло? Тогда позволь мне дать тебе совет: не делай этого по-идиотски. Следишь за кем-нибудь — следи издалека, а не наступай на пятки.

— Я не слежу. . . Я жду, когда вы отпустите Жанну и мы сможем пойти домой.

— Ах, да, молодая семья. А в загсе вы расписались?

— Распишемся. . .

— Когда? После дождика в четверг? Ну, ладно, сматывайся, некогда!

— Жанна! — вызывает студент, многозначительно глядя на девушку.

— Что Жанна? Не видишь — конец браку. Завтра начинается следствие. Марш и без разговоров.

Идем дальше. На этот раз шагов третьего не слышно. Жанна в каком-то оцепенении шагает рядом со мной, как автомат. Глядя на тени, которые то исчезают, то появляются у наших ног, я размышляю над монологом Жанны, а на душе у меня так тяжело, будто я веду уже девушку в камеру.

— Сегодня без зонтика, — говорю я, глядя на ее мокрое от дождя лицо.

— Забыла. . . Я вообще сегодня не в себе. . .

— Давно уже, надо думать, не в себе, если впуталась в эту историю. . .

Она не дает себе труда возражать. Мы молча шагаем по тротуару, и я все размышляю над монологом девушки, увязывая его с версией.

Дождь разошелся не на шутку, но для меня это пустяки, а Жанна вообще его не замечает. Ветер, налетая то спереди, то сзади, обдает нас потоками воды — вообще заботится, чтобы на нас, упаси боже, не осталось и пяди сухой. Тоскливый месяц — декабрь.

— Что же теперь будет? — шепчет девушка, словно обращаясь к самой себе.

— Уместный вопрос. Жаль только, что ты задаешь его так поздно, — кисло замечая я.

Потом, взглянув на девушку, смягчаюсь.

— Что будет? Не знаю. Поживем — увидим.

Я хочу добавить, что утро вечера мудреней, но мы

подходим к ее дому, и мудрая сентенция остается при мне.

Медленно пройдя по мощеной аллее, входим в прихожую и спускаемся в подвал.

— Так вот, без шуток, — говорю я, останавливаясь перед дверью тети Кати. — Отсюда пока что ни на шаг. Считай себя под домашним арестом.

Кто-то проходит у нас за спиной и, услышав последнюю фразу, останавливается в нерешительности.

— Жанна? Какой арест?

— А, товарищ Славов, — поворачиваюсь я. — Вот кто нам поможет. Ваша знакомая находится, как вы слышали, под домашним арестом. Я попросил бы вас проследить, чтобы она не выходила из дому.

— У меня нет опыта в подобных делах. . . — буркает инженер и с тревогой поглядывает на нас.

— Не беда. И я когда был маленький, ничего не понимал в убийствах.

И поднимаюсь наверх. На последней ступеньке останавливаюсь и прислушиваюсь. Инженер озабоченно расспрашивает девушку. Жанна что-то лепечет в ответ. И внезапно раздражается плачем. Голос инженера успокаивает: «Не надо. Все уладится, вот увидишь!» А рыдания продолжаются. Хорошо, что меня там нет.

*

Вот и дожили до утра. Хотя бы для того, чтобы установить: утро не всегда мудренее вечера. Зато сырее и холодней. Тяжелые потоки воды хлещут в окно нашего кабинета. Такое впечатление, что тебя вмон-

тировали в Ниагарский водопад. С той разницей, что там, наверное, светлее.

Сидя за столом с сигаретой в зубах и в лихо сдвинутой на затылок шляпе, я жду, когда машина придет в движение. Это произойдет не раньше восьми. Значит, у меня есть еще четверть часа, чтобы просмотреть газету. Разложив ее на столе, я углубляюсь в колонки текста, но мысли мои скачут где-то далеко.

Вы читали Хемингуэя? Я три дня газеты не читал, а она мне — Хемингуэй!

Подперев щеку рукой, я смотрю на свои ботинки, замызганные липкой грязью: чисто . . . Тускло светят над головой знакомые сорок ватт: светло . . . Совсем, как в рассказе этого самого. Слов нет, каждому хочется, чтобы вокруг было чисто и светло. Но если ты ради этого готов на грязные и темные поступки, пеняй на себя, если вдруг окажешься в чистой и светлой тюремной камере. Опять сентенция. Опять афоризм.

Ты, моя девочка, не единственная, кто знает что-то о чистом и светлом. У меня, между прочим, тоже есть воспоминания на эту тему, только связанные не с Хемингуэем, а с летним дансингом на берегу. Это был наш последний вечер. Мы сидели на террасе ресторана, а внизу рокотало море. Мы подождали, пока подойдет официант, потом подождали, пока он принесет вино, а потом продолжали молчать, хотя ждать уже было нечего.

— Ты наговорила мне кучу вещей, — замечаю я наконец. — В том числе, должно быть, много верного. Но не ответила на мой вопрос.

Она с укором смотрит на меня.

— Ответила . . .

А, поцеловала . . . Но в ответе, не сформулированном в словах, всегда есть какая-то недоговоренность. По крайней мере для меня. Профессиональная привычка.

— Значит, вопрос решен? — настаиваю я.

— Ты сам должен его решить. И не сразу. Ты поймешь, когда. Так часто все начинается хорошо, а кончается очень плохо. Поэтому просто начинаешь бояться всего, что начинается хорошо.

— Фатализм и суеверие, — бросаю я. — Религиозные предрассудки. Роль судьбы в древнегреческой трагедии.

Она улыбается. Улыбка получается немножко грустной.

— Давай лучше потанцуем.

Так что мы все-таки танцуем — горькая чаша не минует меня. Мелодия та же, море все так же шумит где-то в темноте, внизу. И я все так же, словно автомат, переступаю с ноги на ногу. К счастью, я вскоре забываю, что я именно делаю, и смотрю-смотрю в поднятые на меня глаза.

— Значит, в один прекрасный день я выхожу у вас на станции и застаю тебя готовой, да?

— Готовой? Как? В смысле туалетов?

— Психологически. И нечего размышлять о вещах, которые начинаются хорошо, а кончаются плохо, ясно?

Она смотрит поверх моего плеча, я на нее, и мы танцуем в желто-зеленом свете дансинга.

Потом, когда мы расстаемся, я, начисто оглупев, говорю:

— Оставь мне что-нибудь на память.

— Ты боишься за свою память?

— Фотографию, — прошу я. — Ту, что у тебя в сумочке.

— Милиции, — вздыхает она, — все известно.

И протягивает карточку.

Карточка и мелодия — это совсем не мало для того, чтобы удержать воспоминания. Мне по крайней мере достаточно. Карточка. И мелодия.

Восемь с минутами. Поднимаю трубку и набираю номер.

— Что? Все еще не приходил? Ну, и дисциплинка . . . Ах, болен . . . Хорошо, что вы догадались мне об этом наконец сказать.

Ну, раз судебные медики стали болеть, значит, мы явно прогрессируем. Изнежились . . . Пьем чай, болеем . . .

В дверь стучат. Входит лейтенант. Протягивает папку с материалами.

— А сведения о цинистом калии?

— Пока еще не приносили.

Лейтенант смотрит на меня — ждет, вероятно, какой-нибудь шутки, но мне сейчас вовсе не до шуток. Он, поняв это, выходит. Взяв рассеянно папку с документами, я начинаю ее листать. Так, понятно. Машина работает. Устанавливает. Документирует.

Вот пачка фотографических снимков, сделанных во время осмотра помещения. Узловые. Обзорные. Детальные. Семейный альбом готов. Правда, нельзя сказать, чтобы полный. Другое дело, если б объектив можно было устремить в прошлое. Тогда снимков было бы больше. И динамичных. Сочных. Маринов с разомлевшим лицом держит на коленях Дору.

Маринов и Баев за столом. Считают деньги, подписывают расписки. Маринов и Димов с молоденькими девушками. Дольче вита, как говорится, сладкая жизнь. Коньяк и скрещенные женские ножки. Маринов увивается вокруг Жанны . . .

Жанна тоже фигурирует в папке. Не в воображении, а реально. Я держу в руках фотографию, сделанную, вероятно, год назад. Совсем молодое и чистое лицо. Ни помады, ни модной прически. Миловидна, но не вызывающа. Живая девушка . . . судьба которой может быть исковеркана из-за мертвого подлеца. Ну, что ты скажешь, инспектор? Что сказать? А что говорил старик? «Пиши-ка самоубийство». И правильно — пиши самоубийство. И, что называется, дело с концом. От этого никто не страдает. Кроме принципа. Но то принцип, а то живой человек . . .

Я встаю и принимаюсь измерять шагами расстояние от стены до стены. И мысли шагают со мною рядом. В дверь опять кто-то стучит. Входит старшина. Наконец-то!

— Вот список лиц, которым за последние три года отпускался цианистый калий.

Нетерпеливо перелистываю его. Если я рассчитывал увидеть имя Колева, значит, я ошибся. И вообще-то должен радоваться. Доктор мне симпатичен. Характерец, правда, ого-го, но и у меня не лучше. Только вся версия — к чертям. Нету одного-единственного имени в списке — и все-все рушится. Милая девочка, не знаю, понимаешь ли ты меня.

Потом взгляд мой непроизвольно задерживается на чьем-то имени. Не том, что я искал, а совсем дру-

гом. Посидев с минуту в раздумье, я вскакиваю, засовывая список в карман и, на ходу сорвав с вешалки плащ, скатываюсь вниз по лестнице.

На дворе — библейский потоп, но мне некогда заниматься метеорологическими наблюдениями. Надо нанести несколько визитов и в первую очередь навестить одного больного приятеля.

Остановившись перед закопченным фасадом дома, в котором проживает мой Паганини, я начинаю подниматься по лестнице в тайной надежде, что судебный медик расположился не под самой крышей. И не угадываю. Светило вскрытий живет на самой верхотуре. Мне открывает пожилая женщина. Я следую за ней по коридору, ожидая увидеть мрачную мансарду с заплесневелыми, пыльными книгами и анатомическими изображениями людей с содранной кожей.

И опять не угадываю. Комната, в которую я вхожу, вся в каких-то сложных изломах, с обилием верхнего и бокового света и размещенными по углам лампами в кокетливых разноцветных абажурах. Но что потрясает меня больше всего, так это буйство всевозможной растительности. Бегонии, фикусы, лимоны и прочие овощи в разнокалиберных горшках, переплетаясь, образуют, пышные джунгли, которые тянутся чуть не до потолка. В глубине этих джунглей вместо тигра безобидно развалился на кушетке под тремя шерстяными одеялами, с толстым компрессом вокруг шеи, мой Паганини вскрытий. Слегка приподнявшись на локтях, он страдальчески улыбается.

— Что это, сон? — восклицаю в изумлении. — Или я ошибся адресом? Хотя почему . . . Трупы

и цветы . . . Все нормально. Совсем как на кладбище . . . Ну, старик, что это с тобой стряслось?

— Ничего. Обыкновенный грипп, — отвечает он сиплым голосом. — А ты спешишь произвести осмотр?

— Обыкновенный грипп, — говорю я назидательно, — люди переносят на ногах. И на работе.

— С тридцатью девятью градусами?

— Градусы куда важней в напитках. А нам пока еще рановато выпивать. Ну, да черт с тобой. Я хочу знать, что ты установил.

— Установил почти то же самое, что я тебе уже сказал. Слава богу — стреляный воробей. Цианистый калий — лошадиная доза.

— И все?

— Установил и наличие люминала. Бог его знает откуда. Может, он глотал разные порошки?

— Какое количество?

— Незначительное . . . В отличие от цианистого калия. Вообще, моя версия подтверждается.

— Да? А что это была за версия? — неторопливо закуриваю я.

Паганини грустными глазами следит за тем, как я выпускаю изо рта плотную струйку дыма.

— Ах, да, — вспоминаю. — Вы с Мариновым выпивали, ты сообщил ему, что у него рак, и в утешение угостил цианистым калием . . . Как же, помню...

Судебный медик сопит, возясь в своих многочисленных одеялах, но не думаю, чтоб он злился. Его ничто не в состоянии разозлить.

— Раз у тебя не хватает интеллекта придумать что-нибудь поумней, пиши! — буркает он. — Вообще пиши, что хочешь, дорогой. Только не превращай мой невинный грипп в агонию.

Он снова бросает завистливый взгляд на струйку дыма, которую я пускаю, и указывает мне на низкий столик, где среди разных пузырьков с лекарствами высится бутылка коньяку.

— Пей в счет аванса за сигареты, которыми ты будешь меня угощать.

Но мне некогда распивать с ним. Мне предстоят еще два визита, которые решат все. Махнув виртуозу на прощанье рукой, я торопливо выхожу на площадку и чуть не бегу вниз. Что толку в опыте, если к концу каждого расследования испытываешь такое же нетерпение, что и много лет тому назад, во время своего дебюта?

Первый визит отнимает у меня много времени — из-за расстояния. Пока идешь туда, пока назад . . . Сам же визит, неожиданно для меня, оказывается коротким. Что не мешает ему однако быть весьма содержательным.

Спустя немного времени я опять в поликлинике среди беременных женщин. Пробившись к двери, я жду, когда выйдет очередная пациентка, и просовываю голову в кабинет.

— Можно?

— Можно, — отвечает мне человек в белом халате. Это не доктор Колев.

— Мне нужен Колев . . .

— Доктор Колев со вчерашнего дня в отпуске . . .

Обратная дорога. Не хватает, чтобы он куда-нибудь смотался . . . Отпуск в декабре! Случается и такое . . . В эру атома никого ничем не удивишь.

Обиталище мертвеца. Справляюсь о Жанне. Послушно сидит в комнате. Поумнела, значит, наконец, хоть и с некоторым опозданием. Затем стучусь к

доктору и вхожу. Комната такая же, как у Славова, только нет той чистоты и уюта. Конечно же, человек моего склада. Две полки с медицинской литературой, незастланная кровать, на столе — разбросанные рукописи, а за столом — сам Колев. Он отрывается от работы и кивает мне.

— А, это вы . . . Заходите.

— Так-то вы отдыхаете? — спрашиваю я, показывая на рукописи.

— Вот именно.

Лицо Колева не выражает благодарности за то, что я даю ему возможность отдохнуть.

Всякий раз при виде медицинских книг я испытываю легкую грусть. Первая любовь не забывается. Колев замечает завистливые взгляды, которые я бросаю на толстые тома. На лице его появляется улыбка, внезапно смягчающая его резкие черты.

— Это не судебная медицина.

— Судебная — не судебная, все равно она всегда интересна. У меня друг, так он просто мечтал о медицине, как некоторые мечтают о большой любви . .

— И что же?

Я небрежно машу рукой.

— Не состоялось . . . Но это уже совсем другая история. Вернемся к нашей. Я вот смотрю — сидите, работаете. Научный труд, по всей вероятности. И немало сделано. И все это пойдет прахом?

— Ваше участие меня трогает, но я вас не понимаю.

— Все пойдет прахом, говорю. Рухнет.

— Почему рухнет?

— Из-за того, что вы совершили глупость. Из-за того, что продали Маринову цианистый калий.

Да, сколько вам, между прочим, заплатил за это покойник перед тем, как сделаться покойником?

Лицо Колева снова приобретает привычно хмурое выражение.

— Ничего я не продавал. Никто мне ничего не платил.

— Слушайте, доктор, — говорю, — бывают случаи, когда упорство приносит желанные результаты. В научной работе, например. Но сейчас оно абсолютно бессмысленно. Вот это видите?

Я вытаскиваю из карманов выписки из протоколов.

— Не понимаю, — упирается врач.

— А если я покажу вам здесь имя Евтимовой, вашей родственницы, биолога, поймете?

Он отрицательно качает головой.

— Ничего не понимаю.

— Очень жаль, — повожу я плечами. — Стало быть, я ошибся. Стало быть, шерше ля фам. Тогда придется задержать Евтимову.

— Вы шутите? — вскакивает Колев. — Что общего может иметь Евтимова с . . . с . . .

И почему это все думают, что я вечно шучу? Лицо, что ли, у меня такое?

— С отравлением Маринова, хотите вы сказать? Что ж, могу объяснить. Я только что был у Евтимовой, показал ей эти бумаги. Она, как видно, толковый человек. И вообще я установил, что с женщинами мне бывает легче столкнуться. Она призналась, что взяла цианистый калий для каких-то там своих опытов, а остаток отдала Маринову, когда он попросил об этом.

— Чушь! Она не была даже знакома с Мариновым. В глаза его не видала!

— И мне так казалось. Но Евтимова утверждает, что была знакома с Мариновым и, причем, оказывается через вас. Значит, все совпадает. Тем более что сами вы отрицаете свою вину. Чего же еще копаться?

Я закуриваю и делаю вид, что собираюсь уходить.

— Но вы не можете . . . Не имеете права . . . Она не знает, что говорит . . . Воображает, что спасает меня таким образом . . .

— Не воображает, — прерываю я. — Действительно спасает. Виновник налицо. Расследование окончено. Приятного отдыха!

Колев сидит, склонившись над столом, словно тщательно взвешивая услышанное. Мои последние слова выводят его из оцепенения.

— Перестаньте. Евтимова не виновата.

— В таком случае виноваты вы. Другой возможности нет. И давайте не терять времени: сколько вам заплатил Маринов?

Колев, как загипнотизированный, встает со стула и приближается ко мне с белым от гнева лицом.

— Слушайте, инспектор, вы до того привыкли иметь дело со всякими мошенниками, что забываете: на этом свете есть и другие люди. Ничего мне не платил ваш Маринов. Да я бы ничего у него и не взял. Если на то пошло, я сам ему заплатил. Заплатил ядом, чтобы ваш Маринов отправился ко всем чертям.

Как вам понравится — «мой Маринов». Словно я его родил и воспитал! Народ пошел — сплошные неврастеники.

— Ничего не понимаю, — вздыхаю я. — Но обещаю понять при условии, что вы начнете сначала.

Врач проводит худощавой рукой по волосам и пытается успокоиться. Я ускоряю этот процесс, протягивая ему сигарету. Доктор жадно затягивается.

— Маринов жаловался в последнее время на боли в желудке. Я сводил его к своему коллеге. Установили рак.

— Когда обнаруживают рак, пациенту об этом не сообщают. Есть ведь такой принцип.

— А я еще позавчера вам сказал, что в известных случаях плюю на принципы. Из-за принципов мы порой забываем о людях . . .

— Без сентенций! — призываю я. — И — ближе к теме!

— Маринов догадывался, мне кажется, и все время приставал с расспросами. И в то же время продолжал свои художества. Стал преследовать Жанну. И однажды я просто не выдержал: «Ты что же, говорю, до могилы будешь безобразничать? Не видишь, что одной ногой в гробу?» Он понял. И так как был труслив, как заяц, знал, что его ждут страшные мучения, попросил у меня яду. Я отказал. Он настаивал. И продолжал свои безобразия. Мысль о смерти делала его агрессивней, чем когда бы то ни было. «Он и эту маленькую испортит», подумал я. И когда однажды узнал, что у Евтимовой есть цианистый калий, попросил у нее якобы для опытов. И дал ему, вашему Маринovu. Теперь поняли?

— Понял, что вы наплевали не только на принцип, но и на свою профессию. Человек мог прожить еще столько лет! Больные раком живут годами. . .

По лицу Колева пробегает гневная дрожь. Бросив в угол окурок, он приближается ко мне.

— Ничего вы, значит, не поняли. Это был мерзавец . . . Махровый мерзавец, разлагавший все вокруг себя. И когда я нашел для него яд, я даже обрадовался . . . В конечном счете ведь я не стал бы совать ему силой бутылку в рот. Он сам решил свою судьбу. А мертвый мерзавец, я полагаю, всегда приятнее живого.

— Мертвый мерзавец . . . И живая девушка . . . — бормочу я себе под нос.

— Какая девушка? — удивляется Колев.

— Такая . . . в платье.

— Да, мы с вами говорим на разных языках!

— Ничего подобного, — возражаю. — Мы отлично понимаем друг друга. Должен признаться — вы с самого начала были мне симпатичны. Только меня, к сожалению, никогда не назначают председателем суда. Разделение власти, понимаете? Судебная, исполнительная и т. д. Возьмите с собой чистое белье. А о сигаретах не беспокойтесь.

*

И вот я опять на фоне тех же знакомых декораций — пустые письменные столы, окно, в которое хлещет дождь, подслеповатая желтая лампочка. История кончается тем, чем началась — обычный прием ленивых авторов. Ничего, как видите, не изменилось, за исключением небольшой подробности. Меня не ждет новое расследование, не ждет свидание с мертвецом. Впереди несколько свободных дней, и я сумею, наконец, сделать кое-какие неотложные

дела. В том числе съездить в провинцию по поводу одной личной истории. Приближается Новый год.

Бодро сдвинув шляпу на затылок, я подхожу к своему любимому наблюдательному пункту — окну. Сквозь косые полосы дождя смутно вырисовываются голые деревья, мост, улица. Прохожие с зонтиками останавливаются возле витрин, заходят в магазины, делают покупки. Мне тоже надо кое-что купить. Пора уже подумать о преемнике моего плаща-ветерана, которому стукнет скоро десять лет.

Дверь за моей спиной открывается. В комнату входит старшина.

— Вас вызывает к себе начальник.

Надо полагать, не для того, чтобы преподнести мне розы.

Так и есть. Начальник, разумеется, доволен быстрым окончанием расследования. Дело только в том, что произошел новый случай. . . И так как другие инспекторы заняты. . . Остается поехать мне.

Я опять стою у окна и жду телефонного звонка. Потом спущусь по лестнице, сяду в машину и надвину шляпу на лоб, чтобы изолироваться на несколько минут и подумать об одном деле. Близятся праздники. Вот тогда я и займусь своей личной историей. На какие дни приходятся они? Только бы не на четверг. Так или иначе, до праздников остается целых две недели. А пока надо думать о ближайшей перспективе — маленьком интимном свидании с мертвецом. На этот раз вечером, для разнообразия.

За спиной звонит телефон.

— Готово? Сейчас спускаюсь.

На ходу сорвав с вешалки плащ, я на ходу натягиваю его на лестнице. Машина урчит внизу. На-

чинается новое расследование. Не знаю, понимаете ли вы меня.

Рабочий день мой кончается поздно. Случай, надо признаться, не из легких. Пока что сплошной туман. Я иду по улице под дождем и пытаюсь, насколько это возможно, что-то разглядеть в тумане. Шагаю, засунув руки в карманы своего старого плаща, и мысли шагают со мною рядом.

Улица, как зебра, изрезана тенями и полосами света, падающими от ламп и из освещенных окон. Я неожиданно ловлю себя на том, что вместо того, чтобы обдумывать версии, считаю темные и светлые полосы. Это нехороший признак. Ничего, пройдет.

Свет . . . Тень . . . Опять свет . . . Опять тень... Мы, как фотографы, неразлучны с темнотой. Павел и Виргиния . . . Инспектор и ночь . . . Проходишь через разные человеческие истории и тащишь на плечах этот принцип. Через самые разные человеческие истории . . . Кроме своей собственной . . . Тень... Свет . . . На дансинге было светло. Поблизости шумело море. А еще ближе стояла девушка. Так близко, что какой-нибудь вульгарный тип сказал бы, что она у меня в руках.

Путь лежит мимо обиталища Маринова. Но мне это теперь ничего не говорит. Дом этот зачислен уже в графу призраков, оставшихся, как старые ненужные вещи, где-то в чулане воспоминаний. Медленно прохожу я мимо двери и заржавелой железной ограды. Передо мной появляется пара. Юноша и девушка идут в обнимку под зонтом. Приходится обняться — зонтик маленький (надеюсь, вы улавливаете связь?) Девушка — Жанна. Юноша — не Том. Только поравнявшись со мной, они узнают меня.

— Инспектор! — шепчет Славов.

— Спокойной ночи, инспектор! — слышу я голос Жанны.

Не оборачиваясь и не замедляя шага, приветственно взмахиваю рукой. «Спокойной ночи!» говорю я про себя. Нет смысла кричать на улице.

И, засунув руки в карманы, с потухшей сигаретой в уголке рта, продолжаю себе шагать по темным и светлым полосам.

Так о чем мы, бишь, говорили? . . . Ах, да, о погоде . . . Значительная облачность с осадками в виде дождя в западных районах страны . . . Советую — не выходите без зонтика.

Худ. редактор: *Д. Карталев*

Техн. редактор: *Ив. Янков*

Корректор: *В. Христова*

Сдано в набор 24. VI. 1964 г. Формат бумаги: 71/100/32

Печ. л. 8 1/8. Тираж 16 300

Государственный полиграфический комбинат
им. Димитра Благоева — София



Богомил Райнов родился 19. VI. 1919 г. в Софии в семье писателя Николая Райнова. Окончил Софийский университет и в годы фашистского господства участвовал в нелегальном литературном кружке. В этот период стихи Богомила Райнова печатались в СССР.

После освобождения страны Богомил Райнов работает в литературных изданиях.

В настоящее время Богомил Райнов профессор Софийского института изобразительных искусств. Его перу принадлежат сборник стихотворений (1941 г.), цикл стихотворений „Любвнный календарь“ (1942 г.), репортажный роман „Путешествие в будни“ (1946 г.), „Избранные стихотворения“ (1946 г.), „Дождливый вечер“ — рассказы (1961 г.), сборник стихотворений (1962 г.), роман „Ночные бульвары“ (1963 г.), а также ряд книг и монографий об изобразительном искусстве.

20213

15 коп.



литературное приложение к журналу Болгария